

ЛЕВ
ТОЛСТОЙ

КАЗАКИ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ. ТОМ 6

Лев Николаевич Толстой
Полное собрание
сочинений. Том 6. Казаки
Серия «Весь Толстой в один клик»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6539048

Содержание

Предисловие к электронному изданию	7
Казачи	11
I.	12
II.	18
III.	27
IV.	31
V.	37
VI.	43
VII.	50
VIII.	55
IX.	64
X.	71
XI.	77
XII.	83
XIII.	87
XIV.	97
XV.	101
XVI.	106
XVII.	114
XVIII.	119
XIX.	128
XX.	133
XXI.	140

XXII.

147

Конец ознакомительного фрагмента.

149

Лев Николаевич Толстой. Казаки

Государственное издательство «Художественная литература»

Москва – 1936

Электронное издание осуществлено в рамках краудсорсингового проекта [«Весь Толстой в один клик»](#)

Организаторы:

[Государственный музей Л.Н. Толстого](#)

[Музей-усадьба «Ясная Поляна»](#)

[Компания АБВУУ](#)

Подготовлено на основе электронной копии 6-го тома Полного собрания сочинений Л.Н. Толстого, предоставленной [Российской государственной библиотекой](#)

Электронное издание 90-томного собрания сочинений Л.Н. Толстого доступно на портале www.tolstoy.ru

Предисловие и редакционные пояснения к 6-му тому Полного собрания сочинений Л.Н. Толстого включены в настоящее издание

*Если Вы нашли ошибку, пожалуйста, напишите нам
info@tolstoy.ru*

Перепечатка разрешается безвозмездно

—

Reproduction libre pour tous les pays.

Предисловие к электронному изданию

Настоящее издание представляет собой электронную версию 90-томного собрания сочинений Льва Николаевича Толстого, вышедшего в свет в 1928—1958 гг. Это уникальное академическое издание, самое полное собрание наследия Л.Н.Толстого, давно стало библиографической редкостью. В 2006 году музей-усадьба «Ясная Поляна» в сотрудничестве с Российской государственной библиотекой и при поддержке фонда Э. Меллона и *координации* Британского совета осуществили сканирование всех 90 томов издания. Однако для того чтобы пользоваться всеми преимуществами электронной версии (чтение на современных устройствах, возможность работы с текстом), предстояло еще распознать более 46 000 страниц. Для этого Государственный музей Л.Н. Толстого, музей-усадьба «Ясная Поляна» вместе с партнером –компанией АBBYY, открыли проект «Весь Толстой в один клик». На сайте readingtolstoy.ru к проекту присоединились более трех тысяч волонтеров, которые с помощью программы АBBYY FineReader распознавали текст и исправляли ошибки. Буквально за десять дней прошел первый этап сверки, еще за два месяца – второй. После третьего этапа корректуры *тома и отдельные произведения* публикуются в

электронном виде на сайте tolstoy.ru.

В издании сохраняется орфография и пунктуация печатной версии 90-томного собрания сочинений Л.Н. Толстого.

Руководитель проекта «Весь Толстой в один клик»

Фекла Толстая



Л. Н. ТОЛСТОЙ

1856 г.

Размер подлинника

Казачи
Кавказская повесть
(1852-1862)

I.

Всё затихло в Москве. Редко, редко где слышится визг колес по зимней улице. В окнах огней уже нет, и фонари потухли. От церквей разносятся звуки колоколов и, колыхаясь над спящим городом, поминают об утре. На улицах пусто. Редко где промесит узкими полозьями песок с снегом ночной извозчик и, перебравшись на другой угол, заснет, дожидаясь седока. Пройдет старушка в церковь, где уж, отражаясь на золотых окладах, красно и редко горят несимметрично расставленные восковые свечи. Рабочий народ уж поднимается после долгой зимней ночи и идет на работы.

А у господ еще вечер.

В одном из окон Шевалье из-под затворенной ставни противозаконно светится огонь. У подъезда стоят карета, сани и извозчики, стеснившись задками. Почтовая тройка стоит тут же. Дворник, закутавшись и сжавшись, точно прячется за угол дома.

«И чего переливают из пустого в порожнее? – думает лакей, с осунувшимся лицом, сидя в передней. – И всё на мое дежурство!» Из соседней светлой комнатки слышатся голоса трех ужинающих молодых людей. Они сидят в комнате около стола, на котором стоят остатки ужина и вина. Один, маленький, чистенький, худой и дурной, сидит и смотрит на отъезжающего добрыми, усталыми глазами. Другой, высокий, ле-

жит подле уставленного пустыми бутылками стола и играет ключиком часов. Третий, в новеньком полушубке, ходит по комнате и, изредка останавливаясь, щелкает миндаль в довольно толстых и сильных, но с отчищенными ногтями пальцах, и всё чему-то улыбается; глаза и лицо его горят. Он говорит с жаром и с жестами; но видно, что он не находит слов, и все слова, которые ему приходят, кажутся недостаточными, чтобы выразить всё, что подступило ему к сердцу. Он беспрестанно улыбается.

– Теперь можно всё сказать! – говорит отъезжающий. – Я не то что оправдываюсь, но мне бы хотелось, чтобы ты по крайней мере понял меня, как я себя понимаю, а не так, как пошлость смотрит на это дело. Ты говоришь, что я виноват перед ней, – обращается он к тому, который добрыми глазами смотрит на него.

– Да, виноват, – отвечает маленький и дурной, и кажется, что еще больше доброты и усталости выражается в его взгляде.

– Я знаю, отчего ты это говоришь, – продолжает отъезжающий. – Быть любимым по-твоему такое же счастье, как любить, и довольно на всю жизнь, если раз достиг его.

– Да, очень довольно, душа моя! Больше чем нужно, – подтверждает маленький и дурной, открывая и закрывая глаза.

– Но отчего ж не любить и самому! – говорит отъезжающий, задумывается и как будто с сожалением смотрит на приятеля. – Отчего не любить? Не любится... Нет, любимым

быть – несчастье, несчастье, когда чувствуешь, что виноват, потому что не даешь того же и не можешь дать. Ах, Боже мой! – Он махнул рукой. – Ведь если бы это всё делалось разумно, а то навыворот, как-то не по-нашему, а по-своему всё это делается. Ведь я как будто украл это чувство. И ты так думаешь; не отказывайся, ты должен это думать. А поверишь ли, из всех глупостей и гадостей, которых я много успел наделать в жизни, это одна, в которой я не раскаиваюсь и не могу раскаиваться. Ни сначала, ни после я не лгал ни перед собой, ни перед нею. Мне казалось, что наконец-то вот я полюбил, а потом увидел, что это была невольная ложь, что так любить нельзя, и не мог идти далее; а она пошла. Разве я виноват в том, что не мог? Что же мне было делать?

– Ну, да теперь кончено! – сказал приятель, закуривая сигару, чтобы разогнать сон. – Одно только: ты еще не любил и не знаешь, что такое любить.

Тот, который был в полушубке, хотел опять сказать что-то и схватил себя за голову. Но не высказывалось то, что он хотел сказать.

– Не любил! Да, правда, не любил. Да есть же во мне желание любить, сильнее которого нельзя иметь желанья! Да опять, и есть ли такая любовь? Всё остается что-то недоконченное. Ну, да что говорить! Напутал, напутал я себе в жизни. Но теперь всё кончено, ты прав. И я чувствую, что начинается новая жизнь.

– В которой ты опять напутаешь, – сказал лежавший на

диване и игравший ключиком часов; но отъезжающий не слышал его.

– Мне и грустно, и рад я, что еду, – продолжал он. – Отчего грустно, я не знаю.

И отъезжающий стал говорить об одном себе, не замечая того, что другим не было это так интересно, как ему. Человек никогда не бывает таким эгоистом, как в минуту душевного восторга. Ему кажется, что нет на свете в эту минуту ничего прекраснее и интереснее его самого.

– Дмитрий Андреевич, ямщик ждать не хочет! – сказал вошедший молодой дворовый человек в шубе и обвязанный шарфом. – С двенадцатого часа лошади, а теперь четыре.

Дмитрий Андреевич посмотрел на своего Ванюшу. В его обвязанном шарфе, в его валеных сапогах, в его заспанном лице ему послышался голос другой жизни, призывавшей его, – жизни трудов, лишений, деятельности.

– И в самом деле, прощай! – сказал он, ища на себе незастегнутого крючка.

Несмотря на советы дать еще на водку ямщику, он надел шапку и стал посередине комнаты. Они расцеловались раз, два раза, остановились и потом поцеловались третий раз. Тот, который был в полушубке, подошел к столу, выпил стоявший на столе бокал, взял за руку маленького и дурного и покраснел.

– Нет, всё-таки скажу... Надо и можно быть откровенным с тобой, потому что я тебя люблю... Ты ведь любишь ее? Я

всегда это думал... да?

– Да, – отвечал приятель, еще кротче улыбаясь.

– И может быть...

– Пожалуйста, свечи тушить приказано, – сказал заспанный лакей, слушавший последний разговор и соображавший, почему это господа всегда говорят всё одно и то же. – Счет за кем записать прикажете? За вами-с? – прибавил он, обращаясь к высокому, вперед зная, к кому обратиться.

– За мной, – сказал высокий. – Сколько?

– Двадцать шесть рублей.

Высокий задумался на мгновение, но ничего не сказал и положил счет в карман.

А у двух разговаривающих шло свое.

– Прощай, ты отличный малый! – сказал господин маленький и дурной с кроткими глазами.

Слезы навернулись на глаза обоим. Они вышли на крыльцо.

– Ах, да! – сказал отъезжающий, краснея и обращаясь к высокому: – счет Шевалье ты устроишь, и тогда напиши мне.

– Хорошо, хорошо, – сказал высокий, надевая перчатки. – Как я тебе завидую! – прибавил он совершенно неожиданно, когда они вышли на крыльцо.

Отъезжающий сел в сани, закутался в шубу и сказал: «Ну что ж! Поедем», и даже подвинулся в санях, чтобы дать место тому, который сказал, что ему завидует; голос его дрожал.

Провожавший сказал: «Прощай, Митя, дай тебе Бог...» Он ничего не желал, кроме только того, чтобы тот уехал поскорее, и потому не мог договорить, чего он желал.

Они помолчали. Еще раз сказал кто-то: «прощай».

Кто-то сказал: «пошел!» И ямщик тронул.

– Елизар, подавай! – крикнул один из провожавших.

Извозчики и кучер зашевелились, зачмокали и задергали вожжами. Замерзшая карета завизжала по снегу.

– Славный малый этот Оленин, – сказал один из провожавших. – Но что за охота ехать на Кавказ и юнкером? Я бы полтинника не взял. Ты будешь завтра обедать в клубе?

– Буду.

И провожавшие разъехались.

Отъезжавшему казалось тепло, жарко от шубы. Он сел на дно саней, распахнулся, и ямская взъерошенная тройка потащилась из темной улицы в улицу мимо каких-то невиданных им домов. Оленину казалось, что только отъезжающие ездят по этим улицам. Кругом было темно, безмолвно, уныло, а в душе было так полно воспоминаний, любви, сожалений и приятных давивших слез...

II.

«Люблю! Очень люблю! Славные! Хорошо!» твердил он, и ему хотелось плакать. Но отчего ему хотелось плакать? Кто были славные? Кого он очень любил? Он не знал хорошенько. Иногда он вглядывался в какой-нибудь дом и удивлялся, зачем он так странно выстроен; иногда удивлялся, зачем ямщик и Ванюша, которые так чужды ему, находятся так близко от него и вместе с ним трясутся и покачиваются от порыва пристяжных, натягивающих мерзлые постромки, и снова говорил: «Славные, люблю!» и раз даже сказал: «Как хватит! Отлично!» И сам удивился, к чему он это сказал, и спросил себя: «Уж не пьян ли я?» Правда, он выпил на свою долю бутылки две вина, но не одно вино производило это действие на Оленина. Ему вспоминались все задушевные, как ему казалось, слова дружбы, стыдливо, как будто нечаянно, высказанные ему перед отъездом. Вспоминались пожатия рук, взгляды, молчания, звук голоса, сказавшего: *прощай, Митя!* когда он уже сидел в санях. Вспоминалась своя собственная решительная откровенность. И все это для него имело трогательное значение. Перед отъездом не только друзья, родные, не только равнодушные, но несимпатичные, недоброжелательные люди, все как будто вдруг сговорились сильнее полюбить его, простить как перед исповедью или смертью. «Может быть, мне не вернуться с Кавказа», ду-

мал он. И ему казалось, что он любит своих друзей и еще любит кого-то. И ему было жалко себя. Но не любовь к друзьям так размягчила и подняла его душу, что он не удерживал бессмысленных слов, которые говорились сами собой, и не любовь к женщине (он никогда еще не любил) привела его в это состояние. Любовь к самому себе, горячая, полная надежд, молодая любовь ко всему, что только было хорошего в его душе (а ему казалось теперь, что только одно хорошее было в нем), заставляла его плакать и бормотать несвязные слова.

Оленин был юноша, нигде не кончивший курса, нигде не служивший (только числившийся в каком-то присутственном месте), промотавший половину своего состояния и до двадцати четырех лет не избравший еще себе никакой карьеры и никогда ничего не делавший. Он был то, что называется «молодой человек» в московском обществе.

В восемнадцать лет Оленин был так свободен, как только бывали свободны русские богатые молодые люди сороковых годов, с молодых лет оставшиеся без родителей. Для него не было никаких – ни физических, ни моральных – оков; он всё мог сделать, и ничего ему не нужно было, и ничто его не связывало. У него не было ни семьи, ни отечества, ни веры, ни нужды. Он ни во что не верил и ничего не признавал. Но, не признавая ничего, он не только не был мрачным, скучающим и резонирующим юношей, а напротив, увлекался постоянно. Он решил, что любви нет, а всякий раз присутствие моло-

дой и красивой женщины заставляло его замирать. Он давно знал, что почести и звание – вздор, но чувствовал невольно удовольствие, когда на бале подходил к нему князь Сергей и говорил ласковые речи. Но отдавался он всем своим увлечениям лишь настолько, насколько они не связывали его. Как только, отдавшись одному стремлению, он начинал чужать приближение труда и борьбы, мелочной борьбы с жизнью, он инстинктивно торопился оторваться от чувства или дела и восстановить свою свободу. Так он начинал светскую жизнь, службу, хозяйство, музыку, которой одно время думал посвятить себя, и даже любовь к женщинам, в которую он не верил. Он раздумывал над тем, куда положить всю эту силу молодости, только раз в жизни бывающую в человеке, – на искусство ли, на науку ли, на любовь ли к женщине, или на практическую деятельность, – не силу ума, сердца, образования, а тот неповторяющийся порыв, ту на один раз данную человеку власть сделать из себя всё, что он хочет, и как ему кажется, и из всего мира всё, что ему хочется. Правда, бывают люди, лишённые этого порыва, которые, сразу входя в жизнь, надевают на себя первый попавшийся хомут и честно работают в нем до конца жизни. Но Оленин слишком сильно сознавал в себе присутствие этого всемогущего бога молодости, эту способность превратиться в одно желание, в одну мысль, способность захотеть и сделать, способность броситься головой вниз в бездонную пропасть, не зная за что, не зная зачем. Он носил в себе это сознание, был горд им и, сам

не зная этого, был счастлив им. Он любил до сих пор только себя одного и не мог не любить, потому что ждал от себя одного хорошего и не успел еще разочароваться в самом себе. Уезжая из Москвы, он находился в том счастливом, молодом настроении духа, когда, сознав прежние ошибки, юноша вдруг скажет себе, что всё это было не то, – что всё прежнее было случайно и незначительно, что он прежде не хотел жить *хорошенько*, но что теперь, с выездом его из Москвы, начинается новая жизнь, в которой уже не будет больше тех ошибок, не будет раскаяния, а наверное будет одно счастье.

Как всегда бывает в дальней дороге, на первых двух-трех станциях воображение остается в том месте, откуда едешь, и потом вдруг, с первым утром, встреченным в дороге, переносится к цели путешествия и там уже строит замки будущего. Так случилось и с Лениным.

Выехав за город и оглядев снежные поля, он порадовался тому, что он один среди этих полей, завернулся в шубу, опустил на дно саней, успокоился и задремал. Прощанье с приятелями растрогало его, и ему стала вспоминаться вся последняя зима, проведенная им в Москве, и образы этого прошедшего, перебиваемые неясными мыслями и упреками, стали непрошенно возникать в его воображении.

Ему вспомнился этот провожавший его приятель и его отношения к девушке, о которой они говорили. Девушка эта была богата. «Каким образом он мог любить ее, несмотря на то, что она меня любила?» думал он, и нехорошие подозре-

ния пришли ему в голову. «Много есть нечестности в людях, как подумаешь. А отчего ж я еще не любил в самом деле?» представился ему вопрос. «Все говорят мне, что я не любил. Неужели я нравственный урод?» И он стал вспоминать свои увлечения. Вспомнил он первое время своей светской жизни и сестру одного из своих приятелей, с которою он проводил вечера за столом при лампе, освещавшей ее тонкие пальцы за работой и низ красивого тонкого лица, и вспомнились ему эти разговоры, тянувшиеся как «жив-жив курилка», и общую неловкость, и стеснение, и постоянное чувство возмущения против этой натянутости. Какой-то голос всё говорил: *не то, не то*, и точно вышло не то. Потом вспомнился ему бал и мазурка с красивою Д. «Как я был влюблен в эту ночь, как был счастлив! И как мне больно и досадно было, когда я на другой день утром проснулся и почувствовал, что я свободен! Что же она, любовь, не приходит? не вяжет меня по рукам и по ногам?» думал он. «Нет, нет любви! Соседка барыня, говорившая одинаково мне и Дубровину, и предводителю, что любит звезды, была также *не то*». И вот ему вспоминается его хозяйственная деятельность в деревне, и опять не на чем с радостию остановиться в этих воспоминаниях. «Долго они будут говорить о моем отъезде?» приходит ему в голову. Но кто это они, он не знает, и вслед за этим приходит ему мысль, заставляющая его морщиться и произносить неясные звуки: это воспоминание о мосье Капеле и 678 рублях, которые он остался должен портному, и он вспоминает

слова, которыми он упрашивал портного подождать еще год, и выражение недоумения и покорности судьбе, появившееся на лице портного. «Ах, Боже мой, Боже мой!» повторяет он, щурясь и стараясь отогнать несносную мысль. «Однако она меня несмотря на то любила», думает он о девушке, про которую шла речь при прощаньи. «Да, коли я бы на ней женился, у меня бы не было долгов, а теперь я остался должен Васильеву». И представляется ему последний вечер игры с г. Васильевым в клубе, куда он поехал прямо от нее, и вспоминаются униженные просьбы играть еще и его холодные отказы. «Год экономии, и всё это будет заплачено, и чорт их возьми...» Но несмотря на эту уверенность, он снова начинает считать оставшиеся долги, их сроки и предполагаемое время уплаты. «А ведь я еще остался должен Морелю, кроме Шевалье», вспоминалось ему; и представляется вся ночь, в которой он ему задолжал столько. Это была попойка с цыганами, которую затеяли приезжие из Петербурга: Сашка Б***, флигель-адъютант, и князь Д***, и этот важный старик... «И почему они так довольны собой, эти господа? – подумал он, – и на каком основании составляют они особый кружок, в котором, по их мнению, другим очень лестно участвовать. Неужели за то, что они флигель-адъютанты? Ведь это ужасно, какими глупыми и подлыми они считают других! Я показал им, напротив, что нисколько не желаю сближаться с ними. Однако, я думаю, Андрей управляющий очень был бы озадачен, что я на *ты* с таким господином, как Сашка Б***,

полковником и флигель-адъютантом... Да и никто не выпил больше меня в этот вечер; я выучил цыган новой песне, и все слушали. Хоть и много глупостей я делал, а всё-таки я очень, очень хороший молодой человек», думает он.

Утро застало Оленина на третьей станции. Он напился чаю, переложил с Ванюшей сам узлы и чемоданы и уселся между ними благоразумно, прямо и аккуратно, зная, где что у него находится, – где деньги и сколько их, где вид и подорожная и шоссейная расписка, – и все это ему показалось так практично устроено, что стало весело, и дальняя дорога представилась в виде продолжительной прогулки.

В продолжение утра и середины дня он весь был погружен в арифметические расчеты: сколько он проехал верст, сколько остается до первой станции, сколько до первого города, до обеда, до чая, до Ставрополя и какую часть всей дороги составляет проеханное. При этом он рассчитывал тоже; сколько у него денег, сколько останется, сколько нужно для уплаты всех долгов и какую часть всего дохода будет он проживать в месяц. К вечеру, напившись чаю, он рассчитывал, что до Ставрополя оставалось $\frac{7}{11}$ всей дороги, долгов оставалось всего на семь месяцев экономии и на $\frac{1}{8}$ всего состояния, – и, успокоившись, он укутался, спустился в сани и снова задремал. Воображение его теперь уже было в будущем, на Кавказе. Все мечты о будущем соединялись с образами Амалат-беков, черкешенок, гор, обрывов, страшных потоков и опасно-

стей. Всё это представляется смутно, неясно; но слава, заманивая, и смерть, угрожая, составляют интерес этого будущего. То с необычайною храбростию и удивляющею всех силой он убивает и покоряет бесчисленное множество горцев; то он сам горец и с ними вместе отстаивает против русских свою независимость. Как только представляются подробности, то в подробностях этих участвуют старые московские лица. Сашка Б*** тут вместе с русскими или с горцами воюет против него. Даже, неизвестно как, портной мосье Капель принимает участие в торжестве победителя. Ежели при этом вспоминаются старые унижения, слабости, ошибки, то воспоминание о них только приятно. Ясно, что там, среди гор, потоков, черкешенок и опасностей, эти ошибки не могут повторяться. Уж раз исповедался в них перед самим собою, и копчено. Есть еще одна, самая дорогая мечта, которая приmeshивалась ко всякой мысли молодого человека о будущем. Это мечта о женщине. И там она, между гор, представляется воображению в виде черкешенки-рабыни, с стройным станом, длинною косою и покорными глубокими глазами. Ему представляется в горах уединенная хижина и у порога она, дожидаящая его в то время, как он, усталый, покрытый пылью, кровью, славой, возвращается к ней, и ему чудятся ее поцелуи, ее плечи, ее сладкий голос, ее покорность. Она прелестна, но она необразована, дика, груба. В длинные зимние вечера он начинает воспитывать ее. Она умна, понятлива, даровита и быстро усваивает себе все необходимые знания.

Отчего же? Она очень легко может выучить языки, читать произведения французской литературы, понимать их. *Notre Dame de Paris*, например, должно ей понравиться. Она может и говорить по-французски. В гостинной она может иметь больше природного достоинства, чем дама самого высшего общества. Она может петь, просто, сильно и страстно. «Ах, какой вздор!» говорит он сам себе. А тут приехали на какую-то станцию и надо перелезть из саней в сани и давать на водку. Но он снова ищет воображением того вздора, который он оставил, и ему представляются опять черкешенки, слава, возвращение в Россию, флигель-адъютантство, прелестная жена. «Но ведь любви нет, – говорит он сам себе. – Почести – вздор. А шестьсот семьдесят восемь рублей?.. А завоеванный край, давший мне больше богатства, чем мне нужно на всю жизнь? Впрочем, нехорошо будет одному воспользоваться этим богатством. Нужно раздать его. Кому только? Шестьсот семьдесят восемь рублей Капелю, а там видно будет...» И уже совсем смутные видения застилают мысль, и только голос Ванюши и чувство прекращенного движения нарушают здоровый, молодой сон, и, сам не помня, перелезает он в другие сани на новой станции и едет далее.

На другое утро то же самое, – те же станции, те же чаи, те же движущиеся крупы лошадей, те же короткие разговоры с Ванюшей, те же неясные мечты и дремоты по вечерам, и усталый, здоровый, молодой сон в продолжение ночи.

III.

Чем дальше уезжал Оленин от центра России, тем дальше казались от него все его воспоминания, и чем ближе подъезжал к Кавказу, тем отраднее становилось ему на душе. «Уехать совсем и никогда не приезжать назад, не показываться в общество», приходило ему иногда в голову. «А эти люди, которых я здесь вижу, – *не люди*; никто из них меня не знает и никто никогда не может быть в Москве в том обществе, где я был, и узнать о моем прошедшем. И никто из того общества не узнает, что я делал, живя между этими людьми». И совершенно новое для него чувство свободы от всего прошедшего охватывало его между этими грубыми существами, которых он встречал по дороге и которых не признавал людьми наравне с своими московскими знакомыми. Чем грубее был народ, чем меньше было признаков цивилизации, тем свободнее он чувствовал себя. Ставрополь, чрез который он должен был проезжать, огорчил его. Вывески, даже французские вывески, дамы в коляске, извозчики, стоявшие на площади, бульвар и господин в шинели и шляпе, проходивший по бульвару и оглядевший проезжих, – больно подействовали на него. «Может быть, эти люди знают кого-нибудь из моих знакомых», и ему опять вспомнились клуб, портной, карты, свет... От Ставрополя зато всё уже пошло удовлетворительно: дико и, сверх того, красиво и

воинственно. И Оленину всё становилось веселее и веселее. Все казаки, ямщики, смотрителя казались ему простыми существами, с которыми ему можно было просто шутить, беседовать, не соображая, кто к какому разряду принадлежит. Все принадлежали к роду человеческому, который был весь бессознательно мил Оленину, и все дружелюбно относились к нему.

Еще в Земле Войска Донского переменили сани на телегу; а за Ставрополем уже стало так тепло, что Оленин ехал без шубы. Была уже весна, – неожиданная, веселая весна для Оленина. Ночью уже не пускали из станиц и вечером говорили, что опасно. Ванюша стал потрушивать, и ружье заряженное лежало на перекладной. Оленин стал еще веселее. На одной станции смотритель рассказал недавно случившееся страшное убийство на дороге. Стали встречаться вооруженные люди. «Вот оно где начинается!» говорил себе Оленин и всё ждал вида снеговых гор, про которые много говорили ему. Один раз, перед вечером, ногаец-ямщик плетью указал из-за туч на горы. Оленин с жадностью стал вглядываться, но было пасмурно и облака до половины застилали горы. Оленину виднелось что-то серое, белое, курчавое, и, как он ни старался, он не мог найти ничего хорошего в виде гор, про которые он столько читал и слышал. Он подумал, что горы и облака имеют совершенно одинаковый вид и что особенная красота снеговых гор, о которых ему толковали, есть такая же выдумка, как музыка Баха и *любовь* к женщи-

не, в которые он не верил, – и он перестал дожидаться гор. Но на другой день, рано утром, он проснулся от свежести в своей перекладной и равнодушно взглянул направо. Утро было совершенно ясное. Вдруг он увидел – шагах в двадцати от себя, как ему показалось в первую минуту – чисто-белые громады с их нежными очертаниями и причудливую, отчетливую воздушную линию их вершин и далекого неба. И когда он понял всю даль между ним и горами и небом, всю громадность гор, и когда почувствовалась ему вся бесконечность этой красоты, он испугался, что это призрак, сон. Он встряхнулся, чтобы проснуться, Горы были всё те же.

– Что это? Что это такое? – спросил он у ямщика.

– А горы, – отвечал равнодушно ногаец.

– И я тоже давно на них смотрю, – сказал Ванюша: – вот хорошо-то! Дома не поверят.

На быстром движении тройки по ровной дороге горы, казалось, бежали по горизонту, блестя на восходящем солнце своими розоватыми вершинами. Сначала горы только удивили Оленина, потом обрадовали; но потом, больше и больше вглядываясь в эту, не из других черных гор, но прямо из степи вырастающую и убегающую цепь снеговых гор, он мало-помалу начал вникать в эту красоту и *почувствовал* горы. С этой минуты все, что только он видел, всё, что он думал, всё, что он чувствовал, получало для него новый, строго величавый характер гор. Все московские воспоминания, стыд и раскаяние, все пошлые мечты о Кавказе, все исчез-

ли и не возвращались более. «Теперь началось», как будто сказал ему какой-то торжественный голос. И дорога, и вдали видневшаяся черта Терека, и станицы, и народ, – всё это ему казалось теперь уже не шуткой. Взглянет на небо – и вспомнит горы. Взглянет на себя, на Ванюшу – и опять горы. Вот едут два казака верхом, и ружья в чехлах равномерно помахиваются у них за спинами, и лошади их перемешиваются гнедыми и серыми ногами, а горы... За Терекон виден дым в ауле, а горы... Солнце всходит и блещет на виднеющемся из-за камыша Тереке, а горы... Из станицы едет арба, женщины ходят, красивые женщины, молодые, а горы... Абреки рыскают в степи, и я еду, их не боюсь, у меня ружье и сила, и молодость, а горы...

IV.

Вся часть Терской линии, по которой расположены гребенские станицы, около 80 верст длины, носит на себе одинаковый характер и по местности, и по населению. Терек, отделяющий казаков от горцев, течет мутно и быстро, но уже широко и спокойно, постоянно нанося сероватый песок на низкий, заросший камышом правый берег и подмывая обрывистый, хотя и не высокий левый берег с его корнями столетних дубов, гниющих чинар и молодого подроста. По правому берегу расположены мирные, но еще беспокойные аулы; вдоль по левому берегу, в полуверсте от воды, на расстоянии семи и восьми верст одна от другой, расположены станицы. В старину большая часть этих станиц были на самом берегу; но Терек, каждый год отклоняясь к северу от гор, подмыл их, и теперь видны только густо-заросшие старые городища, сады, груши, лычи и райны, переплетенные ежевичником и одичавшим виноградником. Никто уже не живет там, и только видны по песку следы оленей, бирюков,¹ зайцев и фазанов, полюбивших эти места. От станицы до станицы идет дорога, прорубленная в лесу на пушечный выстрел. По дороге расположены кордоны, в которых стоят казаки; между кордонами, на вышках, находятся часовые. Только узкая, сажень в

¹ Волков.

триста, полоса лесистой плодородной земли составляет владения казаков. На север от них начинаются песчаные буруны Ногайской или Моздокской степи, идущей далеко на север и сливающейся Бог знает где с Трухменскими, Астраханскими и Киргиз-Кайсацкими степями. На юг за Терекком – Большая Чечня, Кочкальковский хребет, Черные горы, еще какой-то хребет и наконец снежные горы, которые только видны, но в которых никто никогда еще не был. На этой-то плодородной, лесистой и богатой растительностью полосе живет с незапамятных времен воинственное, красивое и богатое староверческое русское население, называемое гребенскими казаками.

Очень, очень давно предки их, староверы, бежали из России и поселились за Терекком, между чеченцами на Гребне, первом хребте лесистых гор Большой Чечни. Живя между чеченцами, казаки перероднились с ними и усвоили себе обычаи, образ жизни и нравы горцев; но удержали и там, во всей прежней чистоте, русский язык и старую веру. Предание, еще до сих пор свежее между казаками, говорит, что царь Иван Грозный приезжал на Терек, вызывал с Гребня к своему лицу стариков, дарил им землю по сю сторону реки, увещевал жить в дружбе и обещал не принуждать их ни к подданству, ни к перемене веры. Еще до сих пор казацкие роды считаются родством с чеченскими, и любовь к свободе, праздности, грабежу и войне составляет главные черты их характера. Влияние России выражается только с невыгодной

стороны стеснением в выборах, снятием колоколов и войсками, которые стоят и проходят там. Казак, по влечению, менее ненавидит джигита— горца, который убил его брата, чем солдата, который стоит у него, чтобы защищать его станицу, но который закурил табаком его хату. Он уважает врага-горца, но презирает чужого для него и угнетателя солдата. Собственно русский мужик для казака есть какое-то чуждое, дикое и презренное существо, которого образчик он видал в заходящих торгашах и переселенцах малороссиянах, которых казаки презрительно называют шаповалами. Щегольство в одежде состоит в подражании черкесу. Лучшее оружие добывается от горца, лучшие лошади покупаются и крадутся у них же. Молодец-казак щеголяет знанием татарского языка и, разгулявшись, даже с своим братом говорит по-татарски. Несмотря на то, этот христианский народец, закинутый в уголок земли, окруженный полудикими магометанскими племенами и солдатами, считает себя на высокой степени развития и признает человеком только одного казака; на всё же остальное смотрит с презрением. Казак большую часть времени проводит на кордонах, в походах, на охоте или рыбной ловле. Он почти никогда не работает дома. Пребывание его в станице есть исключение из правила, и тогда он гуляет. Вино у казаков у всех свое, и пьянство есть не столько общая всем склонность, сколько обряд, неисполнение которого сочлось бы за отступничество. На женщину казак смотрит как на орудие своего благосостояния; девке только позволя-

ет гулять, бабу же заставляет с молодости и до глубокой старости работать для себя, и смотрит на женщину с восточным требованием покорности и труда. Вследствие такого взгляда женщина, усиленно развиваясь и физически и нравственно, хотя и покоряясь наружно, получает, как вообще на Востоке, без сравнения большее чем на Западе влияние и вес в домашнем быту. Удаление ее от общественной жизни и привычка к мужской тяжелой работе дают ей тем больший вес и силу в домашнем быту. Казак, который при посторонних считает неприличным ласково или праздно говорить с своею бабой, невольно чувствует ее превосходство, оставаясь с ней с глазу на глаз. Весь дом, всё имущество, всё хозяйство приобретено ею и держится только ее трудами и заботами. Хотя он и твердо убежден, что труд постыден для казака и приличен только работнику-ногайцу и женщине, он смутно чувствует, что всё, чем он пользуется и называет своим, есть произведение этого труда, и что во власти женщины, матери или жены, которую он считает своею холопкой, лишить его всего, чем он пользуется. Кроме того, постоянный мужской, тяжелый труд и заботы, переданные ей на руки, дали особенно самостоятельный, мужественный характер гребенской женщине и поразительно развили в ней физическую силу, здравый смысл, решительность и стойкость характера. Женщины большею частию и сильнее, и умнее, и развитее, и красивее казаков. Красота гребенской женщины особенно поразительна соединением самого чистого типа черкесского ли-

да с широким и могучим сложением северной женщины. Казачки носят одежду черкесскую: татарскую рубаху, бешмет и чувяки; но платки завязывают по-русски. Щегольство, чистота и изящество в одежде и убранстве хат составляют привычку и необходимость их жизни. В отношениях к мужчинам женщины, и особенно девки, пользуются совершенною свободой. Станица Новомлинская считалась корнем гребенского казачества. В ней, более чем в других, сохранились нравы старых гребенцов, и женщины этой станицы исстари славились своею красотой по всему Кавказу. Средства жизни казаков составляют виноградные и фруктовые сады, бахчи с арбузами и тыквами, рыбная ловля, охота, посевы кукурузы и проса и военная добыча.

Новомлинская станица стоит в трех верстах от Терека, отделяясь от него густым лесом. С одной стороны дороги, проходящей через станицу, – река, с другой – зеленеют виноградные, фруктовые сады и виднеются песчаные буруны (наносные пески) Ногайской степи. Станица обнесена земляным валом и колючим терновником. Выезжают из станицы и въезжают в нее высокими на столбах воротами с небольшою крытою камышом крышкой, около которых стоит на деревянном лафете пушка, уродливая, сто лет не стрелявшая, когда-то отбитая казаками. Казак в форме, в шашке и ружье, иногда стоит, иногда не стоит на часах у ворот; иногда делает, иногда не делает фрунт проходящему офицеру. Под крышкой ворот на белой дощечке черною краской написано:

домов 266, мужского пола душ 897, женского пола 1012. Дома казаков все подняты на столбах от земли на аршин и более, опрятно покрыты камышом, с высокими князьками. Все – ежели не новы, то прямы, чисты, с разнообразными высокими крылечками и не прилеплены друг к другу, а просторно и живописно расположены широкими улицами и переулками. Перед светлыми, большими окнами многих домов, за огородами, поднимаются выше хат темно-зеленые раины, нежные светлолиственные акации с белыми душистыми цветами, и тут же нагло блестящие желтые подсолнухи и вьющиеся лозы травянок и винограда. На широкой площади виднеются три лавочки с красным товаром, семечком, стручками и пряниками, и за высокой оградой, из-за ряда старых раин, виднеется, длиннее и выше всех других, дом полкового командира со створчатыми окнами. Народа, особенно летом, всегда мало виднеется в будни по улицам станицы. Казаки на службе: на кордонах и в походе; старики на охоте, рыбной ловле или с бабами на работе в садах и огородах. Только совсем старые, малые и больные остаются дома.

V.

Был тот особенный вечер, какой бывает только на Кавказе. Солнце зашло за горы, но было еще светло. Заря охватила треть неба, и на свете зари резко отделялись бело-матовые громады гор. Воздух был редок, неподвижен и звучен. Длинная, в несколько верст, тень ложилась от гор на степи. В степи, за рекой, по дорогам, везде было пусто. Ежели редко-редко где покажутся верховые, то уже казаки с кордона и чеченцы из аула с удивлением и любопытством смотрят на верховых и стараются догадаться, кто могут быть эти недобрые люди. Как вечер, так люди из страха друг перед другом жмутся к жильям, и только зверь и птица, не боясь человека, свободно рыщут по этой пустыне. Из садов спешат с веселым говором до захождения солнца казачки, привязывавшие плети. И в садах становится пусто, как и во всей окрестности; но станица в эту пору вечера особенно оживляется. Со всех сторон подвигается пешком, верхом и на скрипучих арбах народ к станице. Девки в подоткнутых рубахах, с хвостинами, весело болтая, бегут к воротам навстречу скотине, которая толпится в облаке пыли и комаров, приведенных ею за собой из степи. Сытые коровы и буйволицы разбредаются по улицам, и казачки в цветных бешметах снуют между ними. Слышен их резкий говор, веселый смех и визги, перебиваемые ревом скотины. Там казак в оружии, верхом,

выпросившийся с кордона, подъезжает к хате и, перегибаясь к окну, постукивает в него, и вслед за стуком показывается красивая молодая голова казачки и слышатся улыбающиеся, ласковые речи. Там скуластый оборванный работник-ногаец, приехав с камышом из степи, поворачивает скрипящую арбу на чистом широком дворе есаула, и скидает ярмо с мотающих головами быков и перекликается по-татарски с хозяином. Около лужи, занимающей почти всю улицу и мимо которой столько лет проходят люди, с трудом лепясь по заборам, пробирается босая казачка с вязанкой дров за спиной, высоко поднимая рубаху над белыми ногами, и возвращающийся казак-охотник шутя кричит: «выше подними, срамница», и целится в нее, и казачка опускает рубаху и роняет дрова. Старик казак с засученными штанами и раскрытою седою грудью, возвращаясь с рыбной ловли, несет через плечо в *санетке*² еще бьющихся серебристых шамаек и, чтоб ближе пройти, лезет через проломанный забор соседа и отдирает от забора зацепившийся зипун. Там баба тащит сухой сук, и слышатся удары топора за углом. Визжат казачата, гоняющие кубари на улицах везде, где вышло ровное место. Через заборы, чтобы не обходить, перелезают бабы. Изо всех труб поднимается душистый дым кизяка. На каждом дворе слышится усиленная хлопотня, предшествующая тишине ночи.

Бабука Улитка, жена хорунжего и школьного учителя, так

² Наметка.

же как и другие, вышла к воротам своего двора и ожидает скотину, которую по улице гонит ее девка Марьянка. Она не успела еще отворить плетня, как громадная буйволица, провожаемая комарами, мыча проламывается сквозь ворота; за ней медленно идут сытые коровы, большими глазами признавая хозяйку и хвостом мерно хлеща себя по бокам. Стройная красавица Марьянка проходит в ворота и, бросая хворостину, закидывает плетень и со всех резвых ног бросается разбивать и загонять на дворе скотину. «Разуйся, чортова девка, — кричит мать: — чувяки-то³ все истоптала»... Марьяна нисколько не оскорбляется названием чортовой девки и принимает эти слова за ласку и весело продолжает свое дело. Лицо Марьяны закрыто обвязанным платком; на ней розовая рубаха и зеленый бешмет. Она скрывается под навесом двора вслед за жирною крупною скотиной, и только слышится из клетки ее голос, нежно уговаривающий буйволицу: «Не постоит! Эка ты! Ну тебя, ну матушка!..» Вскоре приходит девка с старухой из закуты в *избушку*,⁴ и обе несут два большие горшка молока – подой нынешнего дня. Из глиняной трубы избушки скоро поднимается дым кизяка, молоко переделывается в каймак; девка разжигает огонь, а старуха выходит к воротам. Сумерки охватили уже станицу. По всему воздуху разлит запах овоща, скотины и душистого дыма

³ Чувяки – обувь.

⁴ Избушкой у казаков называется низенький холодный срубец, где кипятится и сберегается молочный скоп.

казяка. У ворот и по улицам везде перебегают казачки, несущие в руках зажженные тряпки. На дворе слышно пыхтение и спокойная жвачка опроставшейся скотины, и только женские и детские голоса перекликаются по дворам и улицам. В будни редко когда заслышится мужской пьяный голос.

Одна из казачек, старая, высокая, мужественная женщина, с противоположного двора подходит к бабушке Улитке просить огня; в руке у нее тряпка.

– Что, бабука, убрались? – говорит она.

– Девка топит. Аль огоньку надо? – говорит бабука Улитка, гордая тем, что может услужить.

Обе казачки идут в хату; грубые руки, не привыкшие к мелким предметам, с дрожанием сдирают крышку с драгоценной коробочки со спичками, которые составляют редкость на Кавказе. Пришедшая мужественная казачка садится на приступок с очевидным намерением поболтать.

– Что твой-то, мать, в школе? – спрашивает пришедшая.

– Все ребят учит, мать. Писал, к празднику будет, – говорит хорунжиха.

– Человек умный ведь; в пользу все.

– Известно, в пользу.

– А мой Лукаша на кордоне, а домой не пускают, – говорит пришедшая, несмотря на то, что хорунжиха давно это знает. Ей нужно поговорить про своего Лукашу, которого она только собрала в казаки и которого она хочет женить на Марьяне, хорунжевой дочери.

– На кордоне и стоит?

– Стоит, мать. С праздника не бывал. Намедни с Фомушкиным рубахи послала. Говорит: ничего, начальство одобряет. У них, баит, опять абреков ищут. Лукаша, говорит, весел, ничего.

– Ну и слава Богу, – говорит хорунжиха. – Урван – одно слово.

Лукашка прозван *Урваном* за молодечество, за то, что казачонка вытащил из воды, *урвал*. И хорунжиха помянула про это, чтобы с своей стороны сказать приятное Лукашкиной матери.

– Благодарю Бога, мать, сын хороший; молодец, все одобряют, – говорит Лукашкина мать. – Только бы женить его, и померла бы спокойно.

– Что ж, девок мало ли по станице? – отвечает хитрая хорунжиха, корявыми руками старательно надевая крышку на коробочку со спичками.

– Много, мать, много, – замечает Лукашкина мать и качает головой. – Твоя девка, Марьянушка-то, твоя вот девка, так по полку поискать.

Хорунжиха знает намерение Лукашкиной матери, и хотя Лукашка ей кажется хорошим казаком, она отклоняется от этого разговора, во-первых, потому, что она – хорунжиха и богачка, а Лукашка – сын простого казака, сирота. Во-вторых, потому, что не хочется ей скоро расстаться с дочерью. Главное же потому, что приличие того требует.

– Что ж, Марьянушка подрастет, также девка будет, – говорит она сдержанно и скромно.

– Пришлю сватов, пришлю, дай сады уберем, твоей милости кланяться придем, – говорит Лукашкина мать. – Илье Васильевичу кланяться придем.

– Что Иляс! – гордо говорит хорунжиха: – со мной говорить надо. На всё свое время.

Лукашкина мать по строгому лицу хорунжихи видит, что дальше говорить неудобно, зажигает спичкой тряпку и, приподнимаясь, говорит: – не оставь, мать, попомни эти слова. Пойду, топить надо, – прибавляет она.

Переходя через улицу и размахивая в вытянутой руке зажженную тряпку, она встречает Марьянку, которая кланяется ей.

«Края девка, работница девка, – думает она, глядя на красавицу. – Куда ей расти! Замуж пора, да в хороший дом, замуж за Лукашку».

У бабуки же Улитки своя забота, и она как сидела на пороге, так и остается, и о чем-то трудно думает, до тех пор пока девка не позвала ее.

VI.

Мужское население станицы живет в походах и на кордонах, или постах, как называют казаки. Тот самый Лукашка-Урван, про которого говорили старухи в станице, перед вечером, стоял на вышке Нижне-Протоцкого поста. Нижне-Протоцкий пост – на самом берегу Терека. Облокотившись на перильцы вышки, он щурился поглядывал то на даль за Терекком, то вниз на товарищей казаков и изредка заговаривал с ними. Солнце уже приближалось к снеговому хребту, белевшему над курчавыми облаками. Облака, волнуясь у его подошвы, принимали более и более темные тени. В воздухе разливалась вечерняя прозрачность. Из заросшего дикого леса тянуло свежестью, но около поста еще было жарко. Голоса разговаривавших казаков звучнее раздавались и стояли в воздухе. Коричневый быстрый Терек отчетливой отделялся от неподвижных берегов всею своею подвигающеюся массой. Он начинал сбывать, и кое-где мокрый песок бурел на берегах и на отмелях. Прямо против кордона, на том берегу, всё было пусто; только низкие бесконечные и пустынные камыши тянулись до самых гор. Немного в стороне виднелись на низком берегу глиняные дома, плоские крыши и воронкообразные трубы чеченского аула. Зоркие глаза казака, стоявшего на вышке, следили в вечернем дыму мирного аула за движущимися фигурами издали видневшихся че-

ченоч в синих и красных одеждах.

Несмотря на то, что казаки каждый час ожидали переправы и нападения *абреков*⁵ с татарской стороны, особенно в мае месяце, когда лес по Тереку так густ, что пешему трудно пролезть через него, а река так мелка, что кое-где можно переезжать ее в брод, и несмотря на то, что дня два тому назад *прибегал* от полкового командира казак⁶ с *цыдулкой*,⁷ в которой значилось, что, по полученным чрез лазутчиков сведениям, партия в восемь человек намерена переправиться через Терек, и потому предписывается наблюдать особую осторожность, — на кордоне не соблюдалось особенной осторожности. Казаки, как дома, без оседланных лошадей, без оружия, занимались кто рыбною ловлей, кто пьянством, кто охотой. Только лошадь дежурного оседланная ходила в треноге по тернам около леса, и только часовой казак был в черкеске, ружье и шашке. Урядник, высокий худощавый казак, с чрезвычайно длинною спиной и маленькими ногами и руками, в одном расстегнутом бешмете сидел на завалине избы и с выражением начальнической лени и скуки, закрыв глаза, переваливал голову с руки на руку. Пожилой казак с широкою, седоватою, черною бородой, в одной подпоясанной черным ремнем рубахе, лежал у самой воды и лениво смотрел на од-

⁵ Абреком называется немирной чеченец, с целью воровства или грабежа переправившийся на русскую сторону Терека.

⁶ Прибегал значит на казачьем наречьи приезжал верхом.

⁷ Цыдулой называется циркуляр, рассылаемый по постам.

нообразный, бурливший и заворачивающий Терек. Другие, также измученные жаром, полураздетые, кто полоскал белье в Тереке, кто вязал уздечку, кто лежал на земле, мурлыкая песню, на горячем песке берега. Один из казаков с худым и черно-загорелым лицом, видимо мертвецки пьяный, лежал навзничь у одной из стен избы, часа два тому назад бывшей в тени, но на которую теперь прямо падали жгучие косые лучи.

Лукашка, стоявший на вышке, был высокий, красивый малый, лет двадцати, очень похожий на мать. Лицо и всё сложение его, несмотря на угловатость молодости, выражали большую физическую и нравственную силу. Несмотря на то, что он недавно был *собран* в строевые, по широкому выражению его лица и спокойной уверенности позы видно было, что он уже успел принять свойственную казакам и вообще людям, постоянно носящим оружие, воинственную и несколько гордую осанку, что он казак и знает себе цену не ниже настоящей. Широкая черкеска была кое-где порвана, шапка была заломлена назад по-чеченски, ноговицы спущены ниже колен. Одежда его была небогатая, но она сидела на нем с тою особою казацкою щеголеватостью, которая состоит в подражании чеченским джигитам. На настоящем джигите всё всегда широко, оборвано, небрежно; одно оружие богато. Но надето, подпоясано и пригнуто это оборванное платье и оружие одним известным образом, который дается не каждому и который сразу бросается в глаза казаку или горцу. Лукашка имел этот вид джигита. Заложив руки за шашку и

щуря глаза, он всё вглядывался в дальний аул. Порознь черты лица его были нехороши, но, взглянув сразу на его статное сложение и чернобровое умное лицо, всякий невольно сказал бы: «молодец малый!»

– Баб-то, баб-то в ауле что высыпало! – сказал он резким голосом, лениво раскрывая яркие белые зубы и не обращаясь ни к кому в особенности.

Назарка, лежавший внизу, тотчас же торопливо поднял голову и заметил:

– За водой, должно, идут.

– Из ружья бы пугнуть, – сказал Лукашка, посмеиваясь, – то-то бы переполошились!

– Не донесет.

– Вона! Мое через перенесет. Вот дай срок, их праздник будет, пойду к Гирей-хану в гости, бузу⁸ пить, – сказал Лукашка, сердито отмахиваясь от липнувших к нему комаров.

Шорох в чаше обратил внимание казаков. Пестрый лягавый ублюдок, отыскивая след и усиленно махая облезлым хвостом, подбегал к кордону. Лукашка узнал собаку соседа охотника, дяди Ерошки, и вслед за ней разглядел в чаше подвигавшуюся фигуру самого охотника.

Дядя Ерошка был огромного роста казак, с седою как лунь широкою бородой и такими широкими плечами и грудью, что в лесу, где не с кем было сравнить его, он казался невысоким: так соразмерны были все его сильные члены. На нем

⁸ Татарское пиво из пшена.

был оборванный подоткнутый зипун, на ногах обвязанные веревочками по онучам оленьи *поришни*⁹ и растрепанная белая шапчонка. За спиной он нес через одно плечо *кобылку*¹⁰ и мешок с курочкой и копчиком для приманки ястреба; через другое плечо он нес на ремне дикую убитую кошку; на спине за поясом заткнуты были мешочек с пулями, порохом и хлебом, конский хвост, чтоб отмахиваться от комаров, большой кинжал с прорванными ножами, испачканными старую кровью, и два убитые фазана. Взглянув на кордон, он остановился.

– Гей, Лям! – крикнул он на собаку таким залиvistым басом, что далеко в лесу отозвалось эхо, и, перекинув на плечо огромное пистонное ружье, называемое у казаков *флинттой*, приподнял шапку.

– Здорово дневали, добрые люди! Гей! – обратился он к казакамъ тем же сильным и веселым голосом, без всякого усилия, но так громко, как будто кричал кому-нибудь на другую сторону реки.

– Здорово, дядя! Здорово! – весело отозвались с разных сторон молодые голоса казаков.

– Что видали? Сказывай! – прокричал дядя Ерощка, отирая рукавом черкески пот с красного широкого лица.

– Слышь, дядя! Какой ястреб вд-тут на чинаре живет! Как вечер, так и вьется, – сказал Назарка, подмигивая глазом и

⁹ Обувь из невыделанной кожи, надеваемая только размоченная.

¹⁰ Орудие для того, чтоб подкрадываться под фазанов.

подергивая плечом и ногою.

– Ну, ты! – недоверчиво сказал старик.

– Право, дядя, ты *посиди*,¹¹ – подтвердил Назарка, посмеиваясь.

Казачи засмеялись.

Шутник не видал никакого ястреба; но у молодых казаков на кордоне давно вошло в обычай дразнить и обманывать дядю Ерошку всякий раз, как он приходил к ним.

– Э, дурак, только брехать! – проговорил Лукашка с вышки на Назарку.

Назарка тотчас же замолк.

– Надо *посидеть*. *Посижу*, – отозвался старик к великому удовольствию всех казаков. – А свиней видали?

– Легко ли! Свиней смотреть! – сказал урядник, очень довольный случаю развлечься, переваливаясь и обеими руками почесывая свою длинную спину. – Тут абреков ловить, а не свиней надо. Ты ничего не слыхал, дядя, а? – прибавил он, без причины щурясь и открывая белые сплошные зубы.

– Абреков-то? – проговорил старик; – не, не слыхал. А что чихирь есть? Дай испить, добрый человек. Измаялся, право. Я тебе, вот дай срок, свежинки принесу, право, принесу. Поднеси, – прибавил он.

– Ты что ж *посидеть*, что ли, хочешь? – спросил урядник, как будто не расслышав, что сказал тот.

– Хотел ночку *посидеть*, – отвечал дядя Ерошка: – може к

¹¹ Посидеть – значит караулить зверя.

празднику и даст Бог, *замордую* чтò; тогда и тебе дам, право!

– Дядя! Ау! Дядя! – резко крикнул сверху Лука, обращая на себя внимание, и все казаки оглянулись на Лукашку. – Ты к верхнему протоку сходи, там табун важный ходит. Я не вру. Пра! Намеднишь наш казак одного стрелил. Правду говорю, – прибавил он, поправляя за спиной винтовку и таким голосом, что видно было, что он не смеется.

– Э, Лукашка-Урван здесь! – сказал старик, взглядывая кверху. – Кое место стрелил?

– А ты и не видал! Маленький видно, – сказал Лукашка. – У самой у канавы, дядя, – прибавил он серьезно, встряхивая головой. – Шли мы так-то по канаве, как он затрещит, а у меня ружье в чехле было. Иляска как *лопнет*...¹² Да я тебе покажу, дядя, кое место, – недалече. Вот дай срок. Я, брат, все его дорожки знаю. Дядя Мосев! – прибавил он решительно и почти повелительно уряднику: – пора сменять! – и, подобрав ружье, не дожидаясь приказа, стал сходить с вышки.

– Сходи! – сказал уже после урядник, оглядываясь вокруг себя. – Твои часы, что ли, Гурка? Иди! И то ловок стал Лукашка твой, – прибавил урядник, обращаясь к старику. – Все как ты ходит, дома не посидит; намедни убил одного.

¹² Лопнет – выстрелит на казачьем языке.

VII.

Солнце уже скрылось, и ночные тени быстро надвигались со стороны леса. Казаки кончили свои занятия около кордона и собрались к ужину в избу. Только старик, все еще ожидая ястреба и подергивая привязанного за ногу копчика, оставался под чинарой. Ястреб сидел на дереве, но не спускался на курочку. Лукашка неторопливо улаживал в самой чаще тернов, на фазаньей тропке, петли для ловли фазанов и пел одну песню за другою. Несмотря на высокий рост и большие руки, видно было, что всякая работа, крупная и мелкая, спорилась в руках Лукашки.

– Гей, Лука! – послышался ему недалеко из чащи пронзительно-звучный голос Назарки. – Казаки ужинать пошли.

Назарка с живым фазаном под мышкой, продираясь через терны, вылез на тропинку.

– О! – сказал Лукашка замолкая: – где петуха-то взял? Должно мой пружок...¹³

Назарка был одних лет с Лукашкой и тоже с весны только поступил в строевые.

Он был малый некрасивый, худенький, мозглявый, с визгливым голосом, который так и звенел в ушах. Они были соседи и товарищи с Лукою. Лукашка сидел по-татарски на траве

¹³ Силки, которые ставят для ловли фазанов.

и улаживал петли.

– Не знаю чей. Должно твой.

– За ямой, что ль, у чинары? Мой и есть, вчера постановил.

Лукашка встал и посмотрел пойманного фазана. Погладив рукой по темно-сизой голове, которую петух испуганно вытягивал, закатывая глаза, он взял его в руки.

– Нынче пилав сделаем; ты поди зарежь да ощипи.

– Что ж, сами съедим, или уряднику отдать?

– Будет с него.

– Боюсь я их резать, – сказал Назарка.

– Давай сюда.

Лукашка достал ножичек из-под кинжала и быстро дернул им. Петух встрепенулся, но не успел расправить крылья, как уже окровавленная голова загнулась и забилась.

– Вот так-то делай! – проговорил Лукашка, бросая петуха. – Жирный пилав будет.

Назарка вздрогнул, глядя на петуха.

– А слышь, Лука, опять нас в *секрет* пошлет чорт-то, – прибавил он, поднимая фазана и под чортом разумея урядника. – Фомушкина за чихирем усрал, его черед был. Котору ночь ходим! Только на нас и выезжает.

Лукашка посвистывая пошел по кордону

– Захвати бечевку-то! – крикнул он.

Назарка повиновался.

– Я ему нынче скажу, право, скажу, – продолжал Назарка –

Скажем: не пойдем, измучились, да и всё тут. Скажи, право, он тебя послушает. А то что́ это!

– Вò нашел о чем толковать! – сказал Лукашка, видимо думая о другом: – дряни-то! Добро бы из станицы на ночь выгонял, обидно бы было. Там погуляешь, а тут что? Что на кордоне, что в секрете, всё одно. Эка ты!..

– А в станицу придешь?

– На праздник пойду.

– Сказывал Гурка, твоя Дунайка с Фомушкиным гуляет, – вдруг сказал Назарка.

– А чорт с ней! – отвечал Лукашка, оскаливая сплошные белые зубы, но не смеясь. – Разве я другой не найду.

– Как сказывал Гурка-то: пришел, говорит, он к ней, а мужа нет. Фомушкин сидит, пирог ест. Он посидел, да и пошел; под окном, слышит, она и говорит: «ушел чорт-то. Что, родной, пирожка не ешь? А спать, говорит, домой не ходи». А он и говорит из-под окна: «славно».

– Врешь!

– Право, ей-Богу.

Лукашка помолчал. – А другого нашла, чорт с ней: девок мало ли? Она мне и то постыла.

– Вот ты чорт какой! – сказал Назарка. – Ты бы к Марьянке хорунжиной подъехал. Что она ни с кем не гуляет?

Лукашка нахмурился. – Что Марьянка! Всё одно! – сказал он.

– Да вот сунься-ка...

– А ты что думаешь? Да мало ли их по станице?

И Лукашка опять засвистал и пошел к кордону, обрывая листья с сучьев. Проходя по кустам, он вдруг остановился, заметив гладкое деревцо, вынул из-под кинжала ножик и вырезал. – То-то шомпол будет, – сказал он, свистя в воздухе прутом.

Казачи сидели за ужином в мазаных сенях кордона, на земляном полу, вокруг низкого татарского столика, когда речь зашла о чередѣ в *секрет*. – Кому ж нынче итти? – крикнул один из казаков, обращаясь к уряднику в отворенную дверь хаты.

– Да кому итти? – отозвался урядник. – Дядя Бурлак ходил, Фомушкин ходил, – сказал он не совсем уверенно. – Идите вы, что ли? Ты да Назар, – обратился он к Луке, – да Ергушов пойдет; авось проспался.

– Ты-то не просыпаешься, так ему как же! – сказал Назарка вполголоса.

Казачи засмеялись.

Ергушов был тот самый казак, который пьяный спал у избы. Он только что, протирая глаза, ввалился в сени.

Лукашка в это время, встав, справлял ружье.

– Да скорей идите; поужинайте и идите, – сказал урядник. И, не ожидая выражения согласия, урядник затворил дверь, видимо мало надеясь на послушание казаков. – Кабы не приказано было, я бы не послал, а то, гляди, сотник набежит. И то, говорят, восемь человек абреков переправилось.

– Чтò ж, итти надо, – говорил Ергушов: – порядок! Нельзя, время такое. Я говорю, итти надо.

Лукашка между тем, держа обеими руками передо ртом большой кусок фазана и поглядывая то на урядника, то на Назарку, казалось, был совершенно равнодушен к тому, чтò происходило, и смеялся над обоими. Казаки еще не успели обратиться в секрет, когда дядя Ерошка, до ночи напрасно просидевший под чинарой, вошел в темные сени.

– Ну, ребята, – загудел в низких сенях его бас, покрывавший все голоса, – вот и я с вами пойду. Вы на чеченцев, а я на свиней *сидеть* буду.

VIII.

Было уже совсем темно, когда дядя Ерошка и трое казаков с кордона, в бурках и с ружьями за плечами прошли вдоль по Тереку на место, назначенное для секрета. Назарка вовсе не хотел итти, но Лука крикнул на него, и они живо собрались. Пройдя молча несколько шагов, казаки свернули с канавы и по чуть заметной тропинке в камышах подошли к Тереку. У берега лежало толстое черное бревно, выкинутое водой, и камыш вокруг бревна был свежо примят.

– Здесь что ль *сидеть*? – сказал Назарка.

– А то чего ж? – сказал Лукашка: – садись здесь, а я живо приду, только дяде укажу.

– Самое тут хорошее место: нас не видать, а нам видно, – сказал Ергушов: – тут и сидеть; самое первое место.

Назарка с Ергушовым, разостлав бурки, расположились за бревном, а Лукашка пошел дальше с дядей Ерошкой.

– Вот тут недалече, дядя, – сказал Лукашка, неслышно ступая вперед старика: – я укажу, где прошли. Я, брат, один знаю.

– Укажь; ты молодец, Урван, – так же шопотом отвечал старик.

Пройдя несколько шагов, Лукашка остановился, нагнулся над лужицей и свистнул. – Вот где пить прошли, видишь, что ль? – чуть слышно сказал он, указывая на свежий след.

– Спаси тебя Христос, – отвечал старик: – *карга* за канавой в *котлубани*¹⁴ будет, – прибавил он. – Я посижу, а ты ступай.

Лукашка вскинул выше бурку и один пошел назад по берегу, быстро поглядывая то налево на стену камышей, то на Терек, бурливший подле под берегом. «Ведь тоже караулит или ползет где-нибудь», подумал он про чеченца. Вдруг сильный шорох и плесканье в воде заставили его вздрогнуть и схватиться за винтовку. Из-под берега, отдуваясь, выскочил кабан, и черная фигура, отделившись на мгновение от глянцевиной поверхности воды, скрылась в камышах. Лука быстро выхватил ружье, приложился, но не успел выстрелить; кабан уже скрылся в чаще. Плюнув с досады, он пошел дальше. Подходя к месту секрета, он снова приостановился и слегка свистнул. Свисток откликнулся, и он подошел к товарищам.

Назарка, свернувшись, уже спал. Ергушов сидел, поджав под себя ноги, и немного посторонился, чтобы дать место Лукашке.

– Как сидеть весело, право, место хорошее, – сказал он. – Проводил?

– Указал, – отвечал Лукашка, расстилая бурку. – А сейчас какого здорового кабана у самой воды стронул. Должно тот самый! Ты небось слышал, как затрещал?

¹⁴ «Котлубанью» называется яма, иногда просто лужа, в которой мажется кабан, натирая себе «калган», толстую хрящеватую шкуру.

– Слышал, как затрещал зверь, я сейчас узнал, что зверь. Так и думаю: Лукашка зверя спугнул, – сказал Ергушов за-вертываясь в бурку. – Я теперь засну, – прибавил он: ты разбуди после петухов; потому, порядок надо. Я засну, поспим; а там ты заснешь, я посижу... Так-то.

– Я и спать, спасибо, не хочу, – ответил Лукашка.

Ночь была темная, теплая и безветренная. Только с одной стороны небосклона светились звезды; другая и большая часть неба, от гор, была заволочена одною большою тучей. Черная туча, сливаясь с горами, без ветра, медленно подвигалась дальше и дальше, резко отделяясь своими изогнутыми краями от глубокого звездного неба. Только впереди казаку виднелся Терек и даль; сзади и с боков его окружала стена камышей. Камыши изредка, как будто без причины, начинали колебаться и шуршать друг о друга. Снизу колеблющиеся махалки казались пушистыми ветвями дерев на светлом краю неба. У самых ног спереди был берег, под которым бурлил поток. Дальше глянцевитая движущаяся масса коричневой воды однообразно рябила около отмелей и берега. Еще дальше, – и вода, и берег, и туча, всё сливалось в непроницаемый мрак. По поверхности воды тянулись черные тени, которые привычный глаз казака признавал за проносимые сверху каряги. Только изредка зарница, отражаясь в воде, как в черном зеркале, обозначала черту противоположного отлогого берега. Равномерные ночные звуки, шуршанье камышин, храпенье казаков, жужжанье комаров и течение во-

ды прерывались изредка то дальним выстрелом, то бульканьем отвалившегося берега, то всплеском большой рыбы, то треском зверя по дикому, заросшему лесу. Раз сова пролетела вдоль по Тереку, задевая ровно через два взмаха крылом о крыло. Над самую голову казаков она поворотила к лесу и, подлетая к дереву, не через раз, а уже с каждым взмахом задевала крылом о крыло и потом долго копошилась, усаживаясь на старой чинаре. При всяком таком неожиданном звуке слух не спавшего казака усиленно напрягался, глаза щурились и он неторопливо ощупывал винтовку.

Прошла бдльшая часть ночи. Черная туча, протянувшись на запад, из-за своих разорванных краев открыла чистое звездное небо, и перевернутый золотистый рог месяца красно светился над горами. Стало прохватывать холодом. Назарка проснулся, поговорил и опять заснул. Лукашка соскучился, встал, достал ножик из-под кинжала и начал строгать палочку в шомпол. В голове его бродили мысли о том, как там в горах живут чеченцы, как ходят молодцы на эту сторону, как не боятся они казаков и как могут переправиться в другом месте. И он высовывался и глядел вдоль реки, но ничего не было видно. Изредка поглядывая на реку и дальний берег, слабо отделявшийся от воды при робком свете месяца, он уже перестал думать о чеченцах и только ждал времени будить товарищей и итти в станицу. В станице ему представлялась Дунька, его *душенька*, как называют казаки любовниц, и он с досадой думал о ней. Признаки утра: се-

ребристый туман забелел над водой, и молодые орлы недалеко от него пронзительно засвистали и захлопали крыльями. Наконец вскрик первого петуха донесся далеко из станицы, вслед затем другой протяжный петушиный крик, на который отозвались другие голоса.

«Пора будить», подумал Лукашка, кончив шомпол и почувствовав, что глаза его отяжелели. Обернувшись к товарищам, он разглядел, кому какие принадлежали ноги; но вдруг ему показалось, что плеснуло что-то на той стороне Терека, и он еще раз оглянулся на светлеющий горизонт гор под перевернутым серпом, на черту того берега, на Терек и на отчетливо видневшиеся теперь плывущие по нем карчи. Ему показалось, что он движется, а Терек с карчами неподвижен; но это продолжалось только мгновение. Он опять стал вглядываться. Одна большая черная карча с суком особенно обратила его внимание. Как-то странно, не перекачиваясь и не крутясь, плыла эта карча по самой середине. Ему даже показалось, что она плыла не по течению, а перебивала Терек на отмель. Лукашка, вытянув шею, начал пристально следить за ней. Карча подплыла к мели, остановилась и странно зашевелилась. Лукашке замерещилось, что показалась рука из-под карчи. «Вот как абрека один убыю!» подумал он, схватился за ружье, неторопливо, но быстро расставил подсошки, положил на них ружье, неслышно, придержав, взвел курок и, притаив дыхание, стал целиться, всё всматриваясь. «Будить не стану», думал он. Однако сердце застучало у него в

груди так сильно, что он остановился и прислушался. Карча вдруг бултыхнула и снова поплыла, перебивая воду, к нашему берегу. «Не пропустить бы!» подумал он, и вот, при слабом свете месяца ему мелькнула татарская голова впереди карчи. Он навел ружьем прямо на голову. Она ему показалась совсем близко, на конце ствола. Он глянул через. «Он и есть, абрек», подумал он радостно и, вдруг порывисто вскочив на колени, снова повел ружьем, высмотрел цель, которая чуть виднелась на конце длинной винтовки, и, по казачьей, с детства усвоенной привычке, проговорив: «Отцу и Сыну», пожал шишечку спуска. Блеснувшая молния на мгновение осветила камыши и воду. Резкий, отрывистый звук выстрела разнесся по реке и где-то далеко перешел в грохот. Карча уже поплыла не поперек реки, а вниз по течению, крутясь и колыхаясь.

– Держи, я говорю! – закричал Ергушов, ощупывая винтовку и приподнимаясь из-за чурбана.

– Молчи, чорт! – стиснув зубы, прошептал на него Лука. – Абреки!

– Кого стрелил? – спрашивал Назарка. – Кого стрелил, Лукашка?

Лукашка ничего не отвечал. Он заряжал ружье и следил за уплывающей карчой. Неподалеку остановилась она на отмели, и из-за нее показалось что-то большое, покачиваясь на воде.

– Чего стрелил? Что не сказываешь? – повторили казаки.

– Абреки! – сказывают тебе, – повторил Лука.

– Будет брехать-то! Али так вышло ружье-то?

– Абрека убил! Вот что стрелил! – проговорил сорвавшимся от волнения голосом Лукашка, вскакивая на ноги. – Человек плыл... – сказал он, указывая на отмель. – Я его убил. Глянь-ка сюда.

– Будет врать-то, – повторял Ергушов, протирая глаза.

– Чего будет? Вот гляди! Гляди сюда, – сказал Лукашка, схватывая его за плеча и пригибая к себе с такою силой, что Ергушов охнул.

Ергушов посмотрел по тому направлению, куда указывал Лука, и, рассмотрев тело, вдруг переменил тон.

– Эна! Я тебе говорю, другие будут, верно тебе говорю, – сказал он тихо и стал осматривать ружье. – Это передовой плыл; либо уж здесь, либо недалече на той стороне; я тебе верно говорю.

Лукашка распоясался и стал скидывать черкеску.

– Куда ты, дурак? – крикнул Ергушов. – Сунься только, ни за что пропадешь, я тебе верно говорю. Коли убил, не уйдет. Дай натруску порошку подсыпать. У тебя есть? Назар! ты ступай живо на кордон, да не по берегу ходи; убьют, верно говорю.

– Так я один и пошел! Ступай сам, – сказал сердито Назарка.

Лукашка, сняв черкеску, подошел к берегу.

– Не лазяй, говорят, – проговорил Ергушов, подсыпая по-

рох на полку ружья. – Вишь не шелохнется, уж я вижу. До утра недалече, дай с кордона прибегут. Ступай, Назар. Эка робеешь! Не робей, я говорю.

– Лука, а Лука! – говорил Назарка, – да ты скажи, как убил.

Лука раздумал тотчас же лезть в воду.

– Ступайте на кордон живо, а я посижу. Да казакам велите в разъезд послать. Коли на этой стороне... ловить надо!

– Я говорю, уйдут, – сказал Ергушов, поднимаясь, – ловить надо, верно.

И Ергушов с Назаркой встали и, перекрестившись, пошли к кордону, но не берегом, а ломаясь через терны и пролезая на лесную дорожку.

– Ну, смотри, Лука, не шелохнись, – проговорил Ергушов, – а то тоже здесь срежут тебя. Ты, смотри, не зевай, я говорю.

– Иди, знаю, – проговорил Лука и, осмотрев ружье, сел опять за чурбан.

Лукашка сидел один, смотрел на отмель и прислушивался, не слышать ли казаков; но до кордона было далеко, а его мучило нетерпенье; он так и думал, что вот уйдут те абреки, которые шли с убитым. Как на кабана, который ушел вечером, досадно было ему на абреков, которые уйдут теперь. Он поглядывал то вокруг себя, то на тот берег, ожидая вот-вот увидеть еще человека, и, приладив подсошки, готов был стрелять. О том, чтобы его убили, ему и в голову не прихо-

ДИЛО.

IX.

Уже начинало светать. Всё чеченское тело, остановившееся и чуть колыхавшееся на отмели, было теперь ясно видно. Вдруг невдалеке от казака затрещал камыш, послышались шаги и зашевелились махалки камыша. Казак взвел на второй взвод и проговорил: «Отцу и Сыну». Вслед за щелканьем курка шаги затихли.

– Гей, казаки! Дядю не убей, – послышался спокойный бас, и, раздвигая камыши, дядя Ерошка вплоть подошел к нему.

– Чуть-чуть не убил тебя, ей Богу! – сказал Лукашка.

– Чтò стрелил? – спросил старик.

Звучный голос старика, раздавшийся в лесу и вниз по реке, вдруг уничтожил ночную тишину и таинственность, окружавшую казака. Как будто вдруг светлей и видней стало.

– Ты вот ничего не видал, дядя, а я убил зверя, – сказал Лукашка, спуская курок и вставая неестественно спокойно.

Старик, уже не спуская с глаз, смотрел на ясно теперь белевшуюся спину, около которой рябил Терек.

– С карчой на спине плыл. Я его высмотрел, да как... Глянь-ко сюда! Во! В портках синих, ружье никак... Видишь, что ль? – говорил Лука.

– Чего не видать! – с сердцем сказал старик, и чтò-то серьезное и строгое выразилось в лице старика. – Джигита

убил, – сказал он как будто с сожалением.

– Сидел так-то я, гляжу, что чернеет с той стороны? Я еще там его высмотрел, точно человек подошел и упал. Что за диво! А карча, здоровая карча плывет, да не вдоль плывет, а поперек перебивает. Глядь, а из-под нее голова показывается. Что за чудо? Повел я, из камыша-то мне и не видно; привстал, а он услышал, верно, бестия, да на отмель и выполз, оглядывает. Врешь, думаю, не уйдешь. Только выполз, оглядывает. (Ох, глотку завалило чем-то!) Я ружье изготовил, не шелохнусь, выжидаю. Постоял, постоял, опять и поплыл, да как наплыл на месяц-то, так аж спина видна. «Отцу и Сыну и Святому Духу». Глядь из-за дыма, а он и барахтается. Застонал али почудилось мне. Ну, слава Тебе, Господи, думаю, убил! А как на отмель вынесло, всё наружу стало, хочет встать, да и нет силы-то. Побился, побился и лег. Чисто, всё видать. Вишь, не шелохнется, должно издох. Казаки на кордон побежали, как бы другие не ушли!

– Так и поймал! – сказал старик. – Далече, брат, теперь... – И он опять печально покачал головою. В это время пешие и конные казаки с громким говором и треском сучьев слышались по берегу. – Ведут каюк, что ли? – крикнул Лука. – Молодец, Лука! тащи на берег! – кричал один из казаков.

Лукашка, не дожидаясь каюка, стал раздеваться, не спуская глаз с добычи.

– погоди, каюк Назарка ведет, – кричал урядник.

– Дурак! Живой, может! Притворился! Кинжал возьми, –

прокричал другой казак.

– Толкуй! – крикнул Лука, скидывая портки. Он живо разделся, перекрестился и, подпрыгнув, со всплеском вскочил в воду, обмакнулся и, вразмашку кидая белыми руками и высоко поднимая спину из воды и отдувая поперек течения, стал перебивать Терек к отмели. Толпа казаков звонко, в несколько голосов, говорила на берегу. Трое конных поехали в объезд. Каюк показался из-за поворота. Лукашка поднялся на отмели, нагнулся над телом, ворохнул его раза два. – Как есть мертвый! – прокричал оттуда резкий голос Луки.

Чеченец был убит в голову. На нем были синие портки, рубаха, черкеска, ружье и кинжал, привязанные на спину. Сверх всего был привязан большой сук, который и обманул сначала Лукашку.

– Вот как сазан попался! – сказал один из собравшихся кружком казаков, в то время как вытащенное из каюка чеченское тело, приминяя траву, легло на берег.

– Да и желтый же какой! – сказал другой.

– Где искать поехали наши? Они небось все на той стороне. Кабы не передовой был, так не так бы плыл. Одному зачем плыть? – сказал третий.

– То-то ловкий должно, вперед всех выискался. Самый видно джигит! – насмешливо сказал Лукашка, выжимая мокрое платье у берега и беспрестанно вздрагивая. – Борода крашена, подстрижена.

– И зипун в мешочке на спину приладил. Оно и плыть ему легче от нее, – сказал кто-то.

– Слышь, Лукашка! – сказал урядник, державший в руках кинжал и ружье, снятые с убитого. – Ты кинжал себе возьми и зипун возьми, а за ружье, приди, я тебе три *монета* дам. Вишь, оно и с свищом, – прибавил он, пуская дух в дуло: – так мне на память лестно.

Лукашка ничего не ответил: ему видимо досадно было это попрошайничество; но он знал, что этого не миновать.

– Вишь, чорт какой! – сказал он, хмурясь и бросая наземь чеченский зипун: хошь бы зипун хороший был, а то байгуш.

– Годится за дровами ходить, – сказал другой казак.

– Мосев! я домой схожу, – сказал Лукашка, видимо уж забыв свою досаду и желая употребить в пользу подарок начальнику.

– Иди, что ж!

– Оттащи его за кордон, ребята, – обратился урядник к казакам, все осматривая ружье. – Да шалашик от солнца над ним сделать надо. Може из гор выкупать будут.

– Еще не жарко, – сказал кто-то.

– А чакалка изорвет? Это разве хорошо? – заметил один из казаков.

– Караул поставим, а то выкупать придут: нехорошо, коли порвет.

– Ну, Лукашка, как хочешь; ведро ребятам поставишь, – прибавил урядник весело.

– Уж как водится, – подхватили казаки. – Вишь, счастье Бог дал, ничего не видамши, абрека убил.

– Покупай кинжал и зипун. Давай денег больше. И портки продам. Бог с тобой, – говорил Лука. – Мне не налезут; поджарый чорт был.

Один казак купил зипун за *монет*. За кинжал дал другой два ведра.

– Пей, ребята, ведро ставлю, – сказал Лука, – сам из станицы привезу.

– А портки девкам на платки изрежь, – сказал Назарка. Казаки загрохотали.

– Будет вам смеяться, – повторил урядник, – оттащи тело-то. Что пакость такую у избы положили...

– Что стали? Тащи его сюда, ребята! – повелительно крикнул Лукашка казакам, которые неохотно брались за тело, и казаки исполнили его приказание, точно он был начальник. Протащив тело несколько шагов, казаки опустили ноги, которые, безжизненно вздрогнув, опустились, и, расступившись, постояли молча несколько времени. Назарка подошел к телу и поправил подвернувшуюся голову так, чтобы видеть кровавую круглую рану над виском и лицо убитого. – Вишь, заметку какую сделал! В самые мозги, – проговорил он: – не пропадет, хозяйева узнают. – Никто ничего не ответил, и снова тихий ангел пролетел над казаками.

Солнце уже поднялось и раздробленными лучами освещало росистую зелень. Терек бурлил неподалеку в проснув-

шемся лесу; встречая утро, со всех сторон перекликались фазаны. Казаки молча и неподвижно стояли вокруг убитого и смотрели на него. Коричневое тело в одних потемневших мокрых синих портках, стянутых пояском на впалом животе, было стройно и красиво. Мускулистые руки лежали прямо, вдоль ребер. Синеватая свежее-выбритая круглая голова с запекшеюся раной с боку была откинута. Гладкий загорелый лоб резко отделялся от бритого места. Стеклянно-открытые глаза с низко остановившимися зрачками смотрели вверх, казалось, мимо всего. На тонких губах, растянутых в краях и выставлявшихся из-за красных подстриженных усов, казалось, остановилась добродушная, тонкая усмешка. На маленьких кистях рук, поросших рыжими волосами, пальцы были загнуты внутрь и ногти выкрашены красным. Лукашка всё еще не одевался. Он был мокр, шея его была краснее, и глаза его блестели больше обыкновенного; широкие скулы вздрагивали; от белого, здорового тела шел чуть заметный пар на утреннем свежем воздухе.

– Тоже человек был! – проговорил он, видимо любуясь мертвецом.

– Да, попался бы ему, спуска бы не дал, – отозвался один из казаков.

Тихий ангел отлетел. Казаки зашевелились, заговорили. Двое пошли рубить кусты для шалаша. Другие побрели к кордону. Лука с Назаркой побежали собираться в станицу.

Спустя полчаса через густой лес, отделявший Терек от

станции, Лукашка с Назаркой почти бегом шли домой, не переставая разговаривать.

– Ты ей не сказывай, смотри, что я прислал; а поди посмотри, муж дома, что ли? – говорил Лука резким голосом.

– А я к Ямке зайду. Погуляем, что ль? – спрашивал покорный Назар.

– Уж когда же гулять-то, что не ныне, – отвечал Лука.

Придя в станицу, казаки выпили и завалились спать до вечера.

Х.

На третий день после описанного события две роты кавказского пехотного полка пришли стоять в Новомлинскую станицу. Отпряженный ротный обоз уже стоял на площади. Кашевары, вырыв яму и притащив с разных дворов плохо лежавшие чурки, уже варили кашу. Фельдфебеля рассчитывали людей. Фурштаты забивали колья для коновязи. Квартирьеры, как домашние люди, сновали по улицам и переулкам, указывая квартиры офицерам и солдатам. Тут были зеленые ящики, выстроенные во фронт. Тут были артельные повозки и лошади. Тут были котлы, в которых варилась каша. Тут были и капитан, и поручик, и Онисим Михайлович фельдфебель. И находилось все это в той самой станице, где, слышно было, приказано стоять ротам; следовательно, роты были дома. Зачем стоять тут? Кто такие это казаки? Нравится ли им, что будут стоять у них? Раскольники они или нет? До этого нет дела. Распушенные от расчета, изнуренные и запыленные солдаты, шумно и беспорядочно, как усаживающийся рой, рассыпаются по площадям и улицам; решительно не замечая нерасположения казаков, по-двое, по-трое, с веселым говором и позвякивая ружьями, входят в хаты, развешивают амуницию, разбирают мешочки и пошучивают с бабами. К любимому солдатскому месту, к каше, собирается большая группа, и с трубочками в зубах солдатки, погля-

дывая то на дым, незаметно подымающийся в жаркое небо и сгущающийся в вышине, как белое облако, то на огонь костра, как расплавленное стекло дрожащий в чистом воздухе, острят и потешаются над казаками и казачками за то, что они живут совсем не так, как русские. По всем дворам виднеются солдаты, и слышен их хохот, слышны ожесточенные и пронзительные крики казачек, защищающих свои дома, не дающих воды и посуды. Мальчишки и девчонки, прижимаясь к матерям и друг к другу, с испуганным удивлением следят за всеми движениями невиданных еще ими армейских и на почтительном расстоянии бегают за ними. Старые казаки выходят из хат, садятся на завалинках и мрачно и молчаливо смотрят на хлопотню солдат, как будто махнув рукой на всё и не понимая, что из этого может выйти.

Оленину, который уже три месяца как был зачислен юнкером в кавказский полк, была отведена квартира в одном из лучших домов в станице, у хорунжего Ильи Васильевича, то есть у бабуки Улиты.

– Что это будет такое, Дмитрий Андреевич? – говорил запыхавшийся Ванюша Оленину, который верхом, в черкеске, на купленном в Грозной кабардинце весело после пятичасового перехода въезжал на двор отведенной квартиры.

– А что, Иван Васильич? – спросил он, подбадривая лошадь и весело глядя на вспотевшего, со спутанными волосами и расстроенным лицом, Ванюшу, который приехал с обозом и разбирал вещи.

Оленин на вид казался совсем другим человеком. Вместо бритых скул, у него были молодые усы и бородка. Вместо истасканного ночью жизнью желтоватого лица, – на щеках, на лбу, за ушами был красный, здоровой загар. Вместо чистого, нового черного фрака была белая, грязная, с широкими складками черкеска и оружие. Вместо свежих крахмальных воротничков – красный ворот канаусового бешмета, который стягивал загорелую шею. Он был одет по-черкесски, но плохо; всякий узнал бы в нем русского, а не джигита. Все было так, да не так. Несмотря на то, вся наружность его дышала здоровьем, веселостью и самодовольством.

– Вам вот смешно, – сказал Ванюша, – а вы подите-ка сами поговорите с этим народом: не дают тебе хода, да и шабаш. Слова, так и того не добьешься. – Ванюша сердито бросил к порогу железное ведро. – Не русские какие-то.

– Да ты бы станичного начальника спросил.

– Да ведь я их местоположения не знаю, – обиженно отвечал Ванюша.

– Кто ж тебя так обижает? – спросил Оленин, оглядываясь кругом.

– Чорт их знает! Тьфу! Хозяина настоящего нету, на какую–то *кригу*,¹⁵ говорят, пошел. А старуха такая дьявол, что упаси Господи, – отвечал Ванюша, хватаясь за голову. – Как тут жить будет, я уж не знаю. Хуже татар, ей-Богу. Даром что тоже христиане считаются. На что татарин, и тот благород-

¹⁵ «Кригой» называется место у берега, огороженное плетнем для ловли рыбы.

ней. «На кригу пошел!»! Какую кригу выдумали, неизвестно! – заключил Ванюша и отвернулся.

– Что, не так, как у нас на дворне? – сказал Оленин, подтрунивая и не слезая с лошади.

– Лошадь-то пожалуйте, – сказал Ванюша, видимо озадаченный новым для него порядком, но покоряясь своей судьбе.

– Так татарин благородней? а, Ванюша? – повторил Оленин, слезая с лошади и хлопая по седлу.

– Да, вот вы смейтесь тут! Вам смешно, – проговорил Ванюша сердитым голосом.

– Постой, не сердись, Иван Васильич, – отвечал Оленин, продолжая улыбаться. – Дай вот я пойду к хозяевам, посмотри, всё улажу. Еще как заживем славно! Ты не волнуйся только.

Ванюша не отвечал, а только, прищутив глаза, презрительно посмотрел вслед барину и покачал головой. Ванюша смотрел на Оленина только как на барина. Оленин смотрел на Ванюшу только как на слугу. И они оба очень удивились бы, ежели бы кто-нибудь сказал им, что они друзья. А они были друзья, сами того не зная. Ванюша был взят в дом одиннадцатилетним мальчиком, когда и Оленину было столько же. Когда Оленину было пятнадцать лет, он одно время занимался обучением Ванюши и выучил его читать по-французски, чем Ванюша премного гордился. И теперь Ванюша, в минуты хорошего расположения духа, отпускал француз-

ские слова и при этом всегда глупо смеялся.

Оленин вбежал на крыльцо хаты и толкнул дверь в сени. Марьянка в одной розовой рубахе, как обыкновенно дома ходят казачки, испуганно отскочила от двери и, прижавшись к стене, закрыла нижнюю часть лица широким рукавом татарской рубахи. Отворив дальше дверь, Оленин увидел в полусвете всю высокую и стройную фигуру молодой казачки. С быстрым и жадным любопытством молодости он невольно заметил сильные и девственные формы, обозначившиеся под тонкою ситцевою рубахой, и прекрасные черные глаза, с детским ужасом и диким любопытством устремленные на него. «Вот она! – подумал Оленин. – Да еще много таких будет», – вслед затем пришло ему в голову, и он отворил другую дверь в хату. Старая бабука Улитка, также в одной рубахе, согнувшись, задом к нему, выметала пол.

– Здравствуй, матушка! Вот я о квартире пришел... – начал он.

Казачка, не разгибаясь, обернула к нему строгое, но еще красивое лицо.

– Что пришел? Насмеяться хочешь? А? Я те насмеюсь! Черная на тебя немочь! – закричала она, искоса глядя на пришедшего из-под насупленных бровей.

Оленин сначала думал, что изнуренное храброе кавказское воинство, которого он был членом, будет принято везде, особенно казаками, товарищами по войне, с радостью, и потому такой прием озадачил его. Не смущаясь однако, он

хотел объяснить, что он намерен платить за квартиру, но старуха не дала договорить ему.

– Чего пришел? Какую надо болячку? Скобленое твое рыло! Вот дай срок, хозяин придет, он тебе покажет место. Не нужно мне твоих денег поганых. Легко ли, не видали! Табачищем дом загадит, да деньгами платить хочет. Экую болячку не видали! Расстрели тебе в животы сердце!.. – пронзительно кричала она, перебивая Оленина.

«Видно, Ванюша прав! – подумал Оленин: – Татарин благороднее», и, провожаемый бранью бабуки Улитки, вышел из хаты. В то время как он выходил, Марьяна, как была в одной розовой рубашке, но уже до самых глаз повязанная белым платком, неожиданно шмыгнула мимо его из сеней. Быстро постукивая по сходцам босыми ногами, она сбежала с крыльца, приостановилась, порывисто оглянулась смеющимися глазами на молодого человека и скрылась за углом хаты.

Твердая, молодая походка, дикий взгляд блестящих глаз из-под белого платка и стройность сильного сложения красавицы еще сильнее поразили теперь Оленина. «Должно быть она», подумал он. И еще менее думая о квартире и всё оглядываясь на Марьянку, он подошел к Ванюше.

– Вишь, и девка такая же дикая! – сказал Ванюша, еще возившийся у повозки, но несколько развеселившийся: – ровно кобылка табунная. *Лафам!* – прибавил он громким и торжественным голосом и захохотал.

XI.

В вечеру хозяин вернулся с рыбной ловли и, узнав, что ему будут платить за квартиру, усмирил свою бабу и удовлетворил требованиям Ванюши.

На новой квартире все устроилось. Хозяева перешли в теплую, а юнкеру за три *монета* в месяц отдали холодную хату. Оленин поел и заснул. Проснувшись перед вечером, он умылся, обчистился, пообедал и, закулив папироску, сел у окна, выходящего на улицу. Жар свалил. Косая тень хаты с вырезным князьком стлалась через пыльную улицу, загибаясь даже на низу другого дома. Камышовая крутая крыша противоположного дома блестела в лучах спускающегося солнца. Воздух свежел. В станице было тихо. Солдаты разместились и попритихли. Стадо еще не прогоняли, и народ еще не возвращался с работ.

Квартира Оленина была почти на краю станицы. Изредка где-то далеко за Терекком, в тех местах, из которых пришел Оленин, раздавались глухие выстрелы, – в Чечне или на Кумыцкой плоскости. Оленину было очень хорошо после трехмесячной бивачной жизни. На умытом лице он чувствовал свежесть, на сильном теле – непривычную после похода чистоту, во всех отдохнувших членах – спокойствие и силу. В душе у него тоже было свежо и ясно. Он вспоминал поход, миновавшую опасность. Вспоминал, что в опасности он вел

себя хорошо, что он не хуже других, и принят в товарищество храбрых кавказцев. Московские воспоминания уж были Бог знает где. Старая жизнь была стерта, и началась новая, совсем новая жизнь, в которой еще не было ошибок. Он мог здесь, как новый человек между новыми людьми, заслужить новое хорошее о себе мнение. Он испытывал молодое чувство беспричинной радости жизни и, посматривая то в окно на мальчишек, гонявших кубари в тени около дома, то в свою новую прибранную квартирку, думал о том, как он приятно устроится в этой новой для него станичной жизни. Посматривал он еще на горы и небо, и ко всем его воспоминаниям и мечтам примешивалось строгое чувство величавой природы. Жизнь его началась не так, как он ожидал, уезжая из Москвы, но неожиданно хорошо. Горы, горы, горы чуялись во всем, что он думал и чувствовал.

– Сучку поцеловал! кувшин облизал! дядя Ерошка сучку поцеловал! – закричали вдруг казачата, гонявшие кубари под окном, обращаясь к проулку. – Сучку поцеловал! Кинжал пропил! – кричали мальчишки, теснясь и отступая.

Крики эти обращались к дяде Ерошке, который с ружьем за плечами и фазанами за поясом возвращался с охоты.

– Мой грех, ребята! мой грех! – приговаривал он, бойко размахивая руками и поглядывая в окна хат по обе стороны улицы. – Сучку пропил, мой грех! – повторил он, видимо сердясь, но притворяясь, что ему всё равно.

Оленина удивило обращение мальчишек с старым охот-

ником, а еще более поразило выразительное, умное лицо и сила сложения человека, которого называли дядей Ерошкой.

– Дедушка! казак! – обратился он к нему. – Подойди-ка сюда.

Старик взглянул в окно и остановился.

– Здравствуй, добрый человек, – сказал он, приподнимая над коротко обстриженной головой свою шапочку.

– Здравствуй, добрый человек, – отвечал Оленин. – Что это тебе мальчишки кричат?

Дядя Ерошка подошел к окну. – А дразнят меня, старика. Это ничего. Я люблю. Пускай радуются над дядей, – сказал он с теми твердыми и певучими интонациями, с которыми говорят старые и почтенные люди. – Ты начальник армейских, что ли?

– Нет, я юнкер. А где это фазанов убил? – спросил Оленин.

– В лесу три курочки замордовал, – отвечал старик, поворачивая к окну свою широкую спину, на которой заткнутые головками за поясом, пятная кровью черкеску, висели три фазанки. – Али ты не видывал? – спросил он. – Коли хочешь, возьми себе парочку. На! – И он подал в окно двух фазанов. – А что, ты охотник? – спросил он.

– Охотник. Я в походе сам убил четырех.

– Четырех? Много! – насмешливо сказал старик. – А пьяница ты? Чихирь пьешь?

– Отчего ж? и выпить люблю.

– Э, да ты я вижу молодец! Мы с тобой кунаки будем, – сказал дядя Ерошка.

– Заходи, – сказал Оленин. – Вот и чихирю выпьем.

– И то зайти, – сказал старик. – Фазанов-то возьми.

По лицу старика видно было, что юнкер понравился ему, и он сейчас понял, что у юнкера можно даром выпить и потому можно подарить ему пару фазанов.

Через несколько минут в дверях хаты показалась фигура дяди Ерошки. Тут только Оленин заметил всю громадность и силу сложения этого человека, несмотря на то, что краснокоричневое лицо его с совершенно белой окладистой бородой было все изрыто старческими, могучими, трудовыми морщинами. Мышцы ног, рук и плеч были так полны и бочковаты, как бывают только у молодого человека. На голове его из-под коротких волос видны были глубокие зажившие шрамы. Жилистая, толстая шея была, как у быка, покрыта клетчатými складками. Корявые руки были сбиты и исцарапаны. Он легко и ловко перешагнул через порог, освободился от ружья, поставил его в угол, быстрым взглядом окинул и оценил сложенные в хате пожитки и вывернутыми ногами в поршнях, не топая, вышел на середину комнаты. С ним вместе проник в комнату сильный, но не неприятный смешанный запах чихирю, водки, пороху и запекшейся крови.

Дядя Ерошка поклонился образам, расправил бороду и, подойдя к Оленину, подал ему свою черную толстую руку.

– *Кошкильды!* – сказал он. – Это по-татарски значит: здра-

вия желаем, мир вам, по-ихнему.

– *Кошкильды!* Я знаю, – отвечал Оленин, подавая ему руку.

– Э, не знаешь, не знаешь порядков! Дурак! – сказал дядя Ерошка, укоризненно качая головой. – Коли тебе *кошкильды* говорят, ты скажи: *алла рази бо сун*, спаси Бог. Так-то, отец мой, а не *кошкильды*. Я тебя всему научу. Так-то был у нас Илья Мосеич, ваш, русский, так мы с ним кунаки были. Молодец был. Пьяница, вор, охотник, уж какой охотник! Я его всему научил.

– Чему ж ты меня научишь? – спросил Оленин, всё более и более заинтересовываясь стариком.

– На охоту тебя поведу, рыбу ловить научу, чеченцев покажу, душеньку хочешь, и ту доставлю. Вот я какой человек!.. Я шутник! – И старик засмеялся. – Я сяду, отец мой, я устал. Карга? – прибавил он вопросительно.

– А карга что значит? – спросил Оленин.

– А это значит: *хорошо*, по-грузински. А я так говорю, поговорка моя, слово любимое: карга; карга, так и говорю, значит *шутю*. Да что, отец мой, чихирю-то вели поднести. Солдат драбант есть у тебя? Есть? Иван! – закричал старик. – Ведь у вас что ни солдат, то Иван. Твой Иван, что ли?

– И то, Иван. Ванюша! возьми пожалуста у хозяев чихиря и принеси сюда.

– Всё одно, что Ванюша, что Иван. Отчего у вас, у солдат, все Иваны? Иван! – повторил старик. – Ты спроси, батюш-

ка, из начатой бочки. У них первый чихирь в станице. Да больше тридцати копеек за осьмуху, смотри, не давай, а то она, ведьма, рада... Наш народ анафемский, глупый народ, – продолжал дядя Ерошка доверчивым тоном, когда Ванюшка вышел: – они вас не за людей считают. Ты для них хуже татарина. Мирские, мол, русские. А по-моему хоть ты и солдат, а всё человек, тоже душу в себе имеешь. Так ли я сужу? Илья Мосеич солдат был, а какой золото человек был! Так ли, отец мой? За то-то меня наши и не любят; а мне всё равно. Я человек веселый, я всех люблю, я, Ерошка! Так-то, отец мой!

И старик ласково потрепал по плечу молодого человека.

ХII.

Ванюша, между тем, успевший уладить свое хозяйство и даже обрившийся у ротного цирюльника и выпустивший панталоны из сапог в знак того, что рота стоит на просторных квартирах, находился в самом хорошем расположении духа. Он внимательно, но недоброжелательно посмотрел на Ерощку, как на дикого невиданного зверя, покачал головой на запачканный им пол и, взяв из-под лавки две пустые бутылки, отправился к хозяевам.

– Здравствуйте, любезненькие, – сказал он, решившись быть особенно кротким. – Барин велел чихирю купить; налейте, добряшки.

Старуха ничего не ответила. Девка, стоя перед маленьким татарским зеркальцем, убирала платком голову; она молча оглянулась на Ванюшу.

– Я деньги заплачу, почтенные, – сказал Ванюша, потряхивая в кармане медными. – Вы будьте добрые, и мы добрые будем, так-то лучше, – прибавил он.

– Много ли? – отрывисто спросила старуха.

– Осьмушку.

– Поди, родная, нацеди им, – сказала бабука Улита, обращаясь к дочери. – Из начатой налей, желанная.

Девка взяла ключи и графин и вместе с Ванюшей вышла из хаты.

– Скажи, пожалуйста, кто это такая женщина? – спросил Оленин, указывая на Марьянку, которая в это время проходила мимо окна.

Старик подмигнул и толкнул локтем молодого человека.

– Постой, – проговорил он и высунулся в окно. – Кхм! Кхм! – закашлял и замычал он. – Марьянушка! А, нянюик Марьянка! Полюби меня, душенька! Я шутник, – прибавил он шопотом, обращаясь к Оленину.

Девка, не оборачивая головы, ровно и сильно размахивая руками, шла мимо окна тою особенною щеголеватою, молодецкою походкой, которою ходят казачки. Она только медленно повела на старика своими черными, отененными глазами.

– Полюби меня, будешь счастливая! – закричал Ерощка и, подмигивая, вопросительно взглянул на Оленина. – Я молодец, я шутник, – прибавил он. – Королева девка? А?

– Красавица, – сказал Оленин. – Позови ее сюда.

– Ни-ни! – проговорил старик. – Эту сватают за Лукашку. Лука – казак молодец, джигит, намеднись абрека убил. Я тебе лучше найду. Таковую добуду, что вся в шелку да в серебре ходить будет. Уже сказал, – сделаю; красавицу достану.

– Старик, а что говоришь! – сказал Оленин. – Ведь это грех?

– Грех? Где грех? – решительно отвечал старик. – На хорошую девку поглядеть грех? Погулять с ней грех? Али любить ее грех? Это у вас так? Нет, отец мой, это не грех, а

спасенье. Бог тебя сделал, Бог и девку сделал. Всё Он, ба-
тюшка, сделал. Так на хорошую девку смотреть не грех. На
то она сделана, чтоб ее любить да на нее радоваться. Так-то
я сужу, добрый человек.

Пройдя через двор и войдя в темную, прохладную клеть,
заставленную бочками, Марьяна с привычною молитвой по-
дошла к бочке и опустила в нее ливер. Ванюша, стоя в две-
рях, улыбался, глядя на нее. Ему ужасно смешно казалось,
что на ней одна рубаха, обтянута сзади и подпернута спере-
ди, и еще смешнее то, что на шее висели полтинники. Он
думал, что это не по-русски и что у них в дворне то-то смеху
было бы, кабы такую девку увидали. «*Ла филь ком се тре
бье*,¹⁶ для разнообразия, – думал он, – скажу теперь барину».

– Что зазастил-то, чорт! – вдруг крикнула девка.– Подал
бы графин-то.

Нацедив полный графин холодным красным вином, Ма-
рьяна подала его Ванюше.

– Мамуке деньги отдай, – сказала она, отталкивая руку
Ванюши с деньгами.

Ванюша усмехнулся.

– Отчего вы такие сердитые, миленькие? – сказал он доб-
родушно, переминаясь, в то время как девка закрывала боч-
ку.

Она засмеялась.

– А вы разве добрые?

¹⁶ [Девушка, это очень хорошо,]

– Мы с господином очень добрые, – убедительно отвечал Ванюша. – Мы такие добрые, что где ни жили, везде нам хозяева наши благодарны оставались. Потому благородный человек.

Девка приостановилась, слушая.

– А что, он женатый, твой пан-то? – спросила она.

– Нет! Наш барин молодой и не женатый. Потому господа благородные никогда молоды жениться не могут, – поучительно возразил Ванюша.

– Легко ли! Какой буйвол разъелся, а жениться молод! Он у вас у всех начальник? – спросила она.

– Господин мой юнкер, значит, еще не офицер. А звание – то имеет себе больше генерала – большого лица. Потому что не только наш полковник, а сам царь его знает, – гордо объяснил Ванюша. – Мы не такие, как другая армейская голь, а наш папенька сам сенатор; тысячу, больше душ мужиков себе имел и нам по тысяче присылают. Потому нас всегда и любят. А то пожалуй и капитан, да денег нет. Что проку-то?..

– Иди, запрю, – прервала девка.

Ванюша принес вино и объявил Оленину, что *ла филь се тре жули*,¹⁷ – и тотчас же с глупым хохотом ушел.

¹⁷ [девушка очень красивая,]

ХІІІ.

Между тем на площади пробили зорю. Народ возвратился с работ. В воротах замычало стадо, толпясь в пыльном золотистом облаке. И девки, и бабы засуетились по улицам и дворам, убирая скотину. Солнце скрылось совсем за далеким снежным хребтом. Одна голубоватая тень разостлалась по земле и небу. Над потемневшими садами чуть заметно зажглись звезды, и звуки понемногу затихали в станице. Убрав скотину, казачки выходили на углы улиц и, пощелкивая семя, усаживались на завалинках. К одному из таких кружков, подоив двух коров и буйволицу, присоединилась и Марьянка.

Кружок состоял из нескольких баб и девок с одним старым казаком.

Речь шла об убитом абреке. Казак рассказывал, бабы спрашивали.

– А награда, я чай, большая ему будет? – говорила казачка.

– А то как же? Бают, крест вышлют.

– Мосев и то хотел его обидеть. Ружье отнял, да начальство в Кизляре узнало.

– То-то подлая душа, Мосев-то.

– Сказывали, пришел Лукашка-то, – сказала одна девка.

– У Ямки (Ямка была холостая распутная казачка, дер-

жавшая шинок) с Назаркой гуляют. Сказывают, полведра выпили.

– Эко Урвану счастье! – сказал кто-то. – Прямо, что Урван! Да что! малый хорош. Куда ловок! Справедливый малый. Такой же отец был, батяка Кирьяк; в отца весь. Как его убили, вся станица по нем выла... Вон они идут никак, – продолжала говорившая, указывая на казаков, подвигавшихся к ним по улице – Ергушов-то поспел с ними! Вишь, пьяница!

Лукашка с Назаркой и Ергушовым, выпив полведра, шли к девкам. Они все трое, в особенности старый казак, были краснее обыкновенного. Ергушов пошатывался и всё, громко смеясь, толкал под бока Назарку.

– Что, скурехи, песен не играете? – крикнул он на девок. – Я говорю, играйте на наше гулянье.

– Здорово дневали? Здорово дневали? – слышались приветствия.

– Что играть? разве праздник? – сказала баба. – Ты надулся и играй.

Ергушов захохотал и толкнул Назарку. – Играй ты, что ль! И я заиграю, я ловок, я говорю.

– Что, красавицы, заснули? – сказал Назарка. – Мы с кордона *помолитъ*¹⁸ пришли. Вот Лукашку *помолили*.

Лукашка, подойдя к кружку, медленно приподнял папаху и остановился против девок. Широкие скулы и шея бы-

¹⁸ «Помолить» на казачьем языке значит за вином поздравить кого-нибудь или пожелать счастья; вообще употребляется в смысле выпить.

ли у него красны. Он стоял и говорил тихо, степенно; но в этой медленности и степенности движений было больше оживленности и силы, чем в болтовне и суетне Назарки. Он напоминал разыгравшегося жеребца, который, взвив хвост и фыркнув, остановился как вкопанный всеми ногами. Лукашка стоял перед девками; глаза его смеялись; он говорил мало, поглядывая то на пьяных товарищей, то на девок. Когда Марьяна подошла к углу, он ровным, неторопливым движением приподнял шапку, посторонился и снова стал против нее, слегка отставив ногу, заложив большие пальцы за пояс и поигрывая кинжалом. Марьяна в ответ на его поклон медленно нагнула голову, уселась на завалинке и достала из-за пазухи семя. Лукашка, не спуская глаз, смотрел на Марьяну и, щелкая семя, поплеывал. Все затихли, когда подошла Марьяна.

– Что же? надолго пришли? – спросила казачка, прерывая молчанье.

– До утра, – степенно отвечал Лукашка.

– Да что ж, дай Бог тебе интерес хороший, – сказал казак: – я рад, сейчас говорил.

– И я говорю, – подхватил пьяный Ергушов, смеясь. – Гостей-то что! – прибавил он, указывая на проходившего солдата. – Водка хороша солдатская, люблю!

– Трех дьяволов к нам пригнали, – сказала одна из казачек. – Уж дедука в станичное ходил; да ничего, бают, сделать нельзя.

– Ага! Аль горе узнала? – сказал Ергушов.

– Табачищем закурили небось? – спросила другая казачка. – Да кури на дворе сколько хошь, а в хату не пустим. Хошь станичный приходи, не *пустю*. Обокрадут еще. Вишь, он небось, чортов сын, к себе не поставил, станичный-то.

– Не любишь! – опять сказал Ергушов.

– А то бают еще, девкам постелю стлать велено для солдатов и чихирем с медом поить, – сказал Назарка, отставляя ногу как Лукашка и так же, как он, сбивая на затылок папаху.

Ергушов разразился хохотом и, ухватив, обнял девку, которая ближе сидела к нему. – Верно, говорю.

– Ну, смола! – запищала девка: – бабе скажу.

– Говори! закричал он. – И впрямь Назарка правду баит; цыдула была, ведь он грамотный. Верно. – И он принялся обнимать другую девку по порядку.

– Что пристал, сволочь? – смеясь запищала румяная круглолицая Устенька, замахиваясь на него.

Казак посторонился и чуть не упал.

– Вишь, говорят, у девок силы нету: убила было совсем.

– Ну, смола, чорт тебя принес с кордону! – проговорила Устенька и, отвернувшись от него, снова фыркнула со смеху. – Проспал было абрека-то? Вот он бы тебя срезал, и лучше б было.

– Завыла бы небось! – засмеялся Назарка.

– Так тебе и завою!

– Вишь, ей и горя нет. Завыла бы? Назарка, а? – говорил

Ергушов.

Лукашка всё время молча глядел на Марьянку. Взгляд его видимо смущал девку.

– А что, Марьянка, слышь, начальника у вас поставили? – сказал он, подвигаясь к ней.

Марьяна, как всегда, не сразу отвечала и медленно подняла глаза на казаков. Лукашка смеялся глазами, как будто что-то особенное, независимое от разговора, происходило в это время между им и девкой.

– Да, им хорошо, как две хаты есть, – вмешалась за Марьяну старуха: – а вот к Фомушкиным тоже ихнего начальника отвели, так, бают, весь угол добром загородил, а с своею семьей деваться некуда. Слыхано ли дело, целую орду в станицу пригнали! Что будешь делать, – сказала она. – И какую черную немочь они тут работать будут!

– Сказывают, мост на Тереку строить будут, – сказала одна девка.

– А мне сказывали, – промолвил Назарка, подходя к Устенке, – яму рыть будут, девок сажать за то, что ребят молодых не любят. – И опять он сделал любимое коленце, вслед за которым все захохотали, а Ергушов тотчас же стал обнимать старую казачку, пропустив Марьянку, следовавшую по порядку.

– Что ж Марьянку не обнимаешь? Всех бы по порядку, – сказал Назарка.

– Не, моя старая слаще, – кричал казак, целуя отбивавшу-

юся старуху.

– Задушит, – кричала она смеясь.

Мерный топот шагов на конце улицы прервал хохот. Три солдата в шинелях, с ружьями на плечо шли в ногу на смену к ротному ящику. Ефрейтор, старый кавалер, сердито глянув на казаков, провел солдат так, что Лукашка с Назаркой, стоявшие на самой дороге, должны были посторониться. Назарка отступил, но Лукашка, только прищурившись, оборотил голову и широкую спину и не тронулся с места.

– Люди стоят, обойди, – проговорил он, только искоса и презрительно кивнув на солдат.

Солдаты молча прошли мимо, мерно отбивая шаг по пыльной дороге.

Марьяна засмеялась, и за ней все девки.

– Эки нарядные ребята! – сказал Назарка. – Ровно уставшички длиннополые, – и он промаршировал по дороге, передразнивая их.

Все опять разразились хохотом.

Лукашка медленно подошел к Марьяне.

– А начальник у вас где стоит? – спросил он.

Марьяна подумала.

– В новую хату пустили, – сказала она.

– Что он старый или молодой? – спросил Лукашка, подсаживаясь к девке.

– А я разве спрашивала, – отвечала девка. – За чихирем ему ходила, видела, с дядей Ерошкой в окне сидит, рыжий

какой-то. А добра целую арбу полную привезли.

И она опустила глаза.

– Уж как я рад, что пришлось с кордона выпроситься! – сказал Лукашка, ближе подвигаясь на завалинке к девке и всё глядя ей в глаза.

– Что ж, надолго пришел? – спросила Марьяна, слегка улыбаясь.

– До утра. Дай семечек, – прибавил он, протягивая руку.

Марьяна совсем улыбнулась и открыла ворот рубахи.

– Все не бери, – сказала она.

– Право, всё о тебе скучился, ей-Богу, – сказал сдержанно–спокойным шопотом Лука, доставая семечки из-за пазухи девки, и еще ближе пригнувшись к ней, стал шопотом говорить что-то, смеясь глазами.

– Не приду, сказано, – вдруг громко сказала Марьяна, отклоняясь от него.

– Право... Что я тебе сказать хотел, – прошептал Лукашка: – ей-Богу! Приходи, Машенька.

Марьянка отрицательно покачала головой, но улыбалась.

– Нянюка Марьянка! А, нянюка! Мамука ужинать зовет, – прокричал, подбегая к казачкам, маленький брат Марьяны.

– Сейчас приду, – отвечала девка: – ты иди, батюшка, иди один; сейчас приду.

Лукашка встал и приподнял папаху.

– Видно, и мне домой пойти, дело-то лучше будет, – сказал он, притворяясь небрежным, но едва сдерживая улыбку,

и скрылся за углом дома.

Между тем ночь уже совсем опустилась над станицей. Яркие звезды высыпали на темном небе. По улицам было темно и пусто. Назарка остался с казачками на завалинке, и слышался их хохот, а Лукашка, отойдя тихим шагом от девок, как кошка пригнулся и вдруг неслышно побежал, придерживая мотавшийся кинжал, не домой, а по направлению к дому хорунжего. Пробежав две улицы и завернув в переулок, он подобрал черкеску и сел наземь в тени забора. «Ишь, хорунжиха! – думал он про Марьяну: – и не пошутит, чорт! Дай срок».

Шаги приближавшейся женщины развлекли его. Он стал прислушиваться и засмеялся сам с собою. Марьяна, опустив голову, шла скорыми и ровными шагами прямо на него, постукивая хворостиной по кольям забора. Лукашка приподнялся. Марьяна вздрогнула и приостановилась.

– Вишь, чорт проклятый! Напугал меня. Не пошел же домой, – сказала она и громко засмеялась.

Лукашка обнял одною рукой девку, а другою взял ее за лицо. – Что я тебе сказать хотел... ей Богу!.. – Голос его дрожал и прерывался.

– Каки разговоры нашел по ночам, – отвечала Марьяна. – Мамука ждет, а ты к своей душеньке поди.

И, освободившись от его руки, она отбежала несколько шагов. Дойдя до плетня своего двора, она остановилась и оборотилась к казаку, который бежал с ней рядом, продол-

жая уговаривать ее подождать на часок.

– Ну, что́ сказать хотел, полуночник? – И она опять за-смеялась.

– Ты не смейся надо мной, Марьяна! Ей-Богу! Что ж, что у меня душенька есть? А чорт ее возьми! Только слово скажи, уж так любить буду – что́ хошь, то и сделаю. Вон они! (И он погремел деньгами в кармане.) Теперь заживем. Люди радуются, а я что? Не вижу от тебя радости никакой, Марьянушка!

Девка ничего не отвечала, стояла перед ним и быстрыми движениями пальцев на мелкие куски ломала хворостинку.

Лукашка вдруг стиснул кулаки и зубы.

– Да и что всё ждать да ждать! Я ли тебя не люблю, матушка? что́ хочешь надо мной делай, – вдруг сказал он, злобно хмурясь, и схватил ее за обе руки.

Марьяна не изменила спокойного выражения лица и голоса.

– Ты не куражься, Лукашка, а слушай ты мои слова, – отвечала она, не вырывая рук, но отдаляя от себя казака. – Известно, я девка, а ты меня слушай. Воля не моя, а коли ты меня любишь, я тебе вот что́ скажу. Ты руки-то пусти, я сама скажу. Замуж пойду, а глупости от меня никакой не дождешься, – сказала Марьяна, не отворачивая лица.

– Что́ замуж пойдешь? Замуж – не наша власть. Ты сама полюби, Марьянушка, – говорил Лукашка, вдруг из мрачного и рьяного сделавшись опять кротким, покорным и неяв-

ным, улыбаясь и близко глядя в ее глаза.

Марьяна прижалась к нему и крепко поцеловала его в губы.

– Братец! – прошептала она, порывисто прижимая его к себе. Потом вдруг, вырвавшись, побежала и, не оборачиваясь, повернула в ворота своего дома.

Несмотря на просьбы казака подождать еще минутку, послушать, что он ей скажет, Марьяна не останавливалась.

– Иди! Увидят! – проговорила она. – Вон и то, кажись, постоялец наш, чорт, по двору ходит.

«Хорунжиха! – думал себе Лукашка: – замуж пойдет! Замуж само собой, а ты полюби меня».

Он застал Назарку у Ямки и, с ним вместе погуляв, пошел к Дуняшке и, несмотря на ее неверность, ночевал у нее.

XIV.

Действительно, Оленин ходил по двору в то время, как Марьяна прошла в ворота, и слышал, как она сказала: «постоялец-то, чорт, ходит». Весь этот вечер провел он с дядей Ерошкой на крыльце своей новой квартиры. Он велел вынести стол, самовар, вино, зажженную свечу и за стаканом чая и сигарой слушал рассказы старика, усевшегося у его ног на приступочке. Несмотря на то, что воздух был тих, свеча плыла и огонь метался в разные стороны, освещая то столбик крылечка, то стол и посуду, то белую, стриженую голову старика. Ночные бабочки вились и, сыпля пыль с крылышек, бились по столу и в стаканах, то влетали в огонь свечи, то исчезали в черном воздухе, вне освещенного круга. Оленин выпил с Ерошкой вдвоем пять бутылок чихиря. Ерошка всякий раз, наливая стаканы, подносил один Оленину, здороваясь с ним, и говорил без усталости. Он рассказывал про старое житье казаков, про своего батюшку *Широкого*, который один на спине приносил кабанью тушу в десять пуд и выпивал в один присест два ведра чихирю. Рассказал про свое времечко и своего няню¹⁹ Гирчика, с которым он из-за Тереку во время чумы бурки переправлял. Рассказал про охоту, на которой он в одно утро двух оленей убил. Рассказал про свою

¹⁹ Няней называется в прямом смысле всегда старшая сестра, а в переносном «няней» называется друг.

душеньку, которая за ним по ночам на кордон бегала. И всё это так красноречиво и живописно рассказывалось, что Оленин не замечал, как проходило время.

– Так-то, отец ты мой, – говорил он, – не застал ты меня в мое золотое времечко, я бы тебе всё показал. Нынче Ерошка кувшин облизал, а то Ерошка по всему полку гремел. У кого первый конь, у кого шашка гурда,²⁰ к кому выпить пойти, с кем погулять? Кого в горы послать, Ахмет-хана убить? Всё Ерошка. Кого девки любят? Всё Ерошка отвечал. Потому что я настоящий джигит был. Пьяница, вор, табуны в горах отбивал, песенник... на все руки был. Нынче уж и казаков таких нету. Глядеть скверно. От земли вот (Ерошка указал на аршин от земли), сапоги дурацкие наденет, всё на них смотрит, только и радости. Или пьян надуется; да и напьется не как человек, а так что-то. А я кто был? Я был Ерошка вор; меня, мало по станицам, – в горах-то знали. Кунаки-князья приезжали. Я бывало со всеми кунак: татарин – татарин, армяшка – армяшка; солдат – солдат, офицер – офицер. Мне всё равно, только бы пьяница был. Ты, говорит, очиститься должен от мира сообщенья: с солдатом не пей, с татаринком не ешь.

– Кто это говорит? – спросил Оленин.

– А уставщики наши. А муллу или кадия татарского послушай. Он говорит: «вы неверные, гяуры, зачем свинью еди-

²⁰ Шашки и кинжалы, дороже всего ценимые на Кавказе, называются по мастеру – Гурда.

те?» Значит, всякий свой закон держит. А по-моему всё одно. Всё Бог сделал на радость человеку. Ни в чем греха нет. Хоть с зверя пример возьми. Он и в татарскомъ камыше, и в нашем живет. Куда придет, там и дом. Что Бог дал, то и лопает. А наши говорят, что за это будем сковороды лизать. Я так думаю, что всё одна фальшь, – прибавил он, помолчав.

– Что фальшь? – спросил Оленин.

– Да что уставщики говорят. У нас, отец мой, в Червленной, войсковой старшина – кунак мне был. Молодец был, как и я, такой же. Убили его в Чечнях. Так он говорил, что это всё уставщики из своей головы выдумывают. Сдохнешь, говорит, трава вырастет на могилке, вот и всё. – Старик засмеялся. – Отчаянный был.

– А сколько тебе лет? – спросил Оленин.

– А Бог е знает! Годов семьдесят есть. Как у вас царица была, я уже не махонький был. Вот ты и считай, много ли будет. Годов семьдесят будет?

– Будет. А ты еще молодец.

– Что же, благодарю Бога, я здоров, всем здоров; только баба ведьма испортила...

– Как?

– Да так испортила...

– Так, как умрешь, трава вырастет? – повторил Оленин.

Ерошка видимо не хотел ясно выразить свою мысль. Он помолчал немного.

– А ты как думал? Пей! – закричал он, улыбаясь и поднося

ВИНО.

XV.

– Так о чем бишь я говорил? – продолжал он, припоминая. – Так вот я какой человек! Я охотник. Против меня другого охотника по полку нету. Я тебе всякого зверя, всяку птицу найду и укажу; и что и где – всё знаю. У меня и собаки есть, и два ружья есть, и сети, и кобылка, и ястреб, – всё есть, благодарю Бога. Коли ты настоящий охотник, не хвастаешь, я тебе всё покажу. Я какой человек? След найду, – уж я его знаю, зверя, и знаю, где ему лечь и куда пить или валяться придет. Лопазик²¹ сделаю, и сажу ночь, караулю. Что дома-то сидеть! Только нагресишь, пьян надуешься. Еще бабы тут придут, тары да бары; мальчишки кричат; угоришь еще. То ли дело на зорьке выйдешь, местечко выберешь, камыш прижмешь, сядешь и сидишь, добрый молодец, дожидаясь. Всё-то ты знаешь, что в лесу делается. На небо взглянешь, – звездочки ходят, рассматриваешь по ним, гляди, времени много ли. Кругом поглядишь, – лес шелыхается, всё ждешь, вот-вот затрещит, придет кабан мазаться. Слушаешь, как там орлы молодые запищат, петухи ли в станице откликнутся или гуси. Гуси – так до полночи, значит. И всё это я знаю. А то как ружье где далече ударит, мысли придут. Подумаешь: кто это стрелил? Казак, так же как я,

²¹ «Лопазик» называется место для сиденья на столбах или деревьях.

зверя выждал, и попал ли он его или так только испортил, и пойдет сердечный по камышу кровь мазать, так, даром. Не люблю! ох, не люблю! Зачем зверя испортил? Дурак! Дурак! Или думаешь себе: «может, абрек какого казачонка глупого убил». Всё это в голове у тебя ходит. А то раз, сидел я на воде, смотрю, зыбка сверху плывет. Вовсе целая, только край отломан. То-то мысли пришли. Чья такая зыбка? Должно, думаю, ваши черти солдаты в аул пришли, чеченок побрали, ребеночка убил какой чорт: взял за ножки, да об угол. Разве не делают так-то? Эх, души нет в людях! И такие мысли пришли, жалко стало. Думаю: зыбку бросили и бабу угнали, дом сожгли, а джигит взял ружье, на нашу сторону пошел грабить. Всё сидишь, думаешь. Да как заслышишь, по чаще табунок ломится, так и застучит в тебе что-то. Матушки, подойдите! Обнюхают, думаешь себе; сидишь, не дрогнешься, а сердце: дун! дун! дун! так тебя и подкидывает. Нынче весной так-то подошел табун важный, зачернелся. «Отцу и Сыну...» уж хотел стрелить. Как она фыркнет на своих на поросят: «беда, мол, детки: человек сидит», и затрещали все прочь по кустам. Так так бы, кажется, зубом съел ее.

– Как же это свинья поросьятам сказала, что человек сидит? – спросил Оленин.

– А ты как думал? Ты думал, он дурак, зверь-то? Нет, он умней человека, даром что свинья называется. Он всё знает. Хоть то в пример возьми: человек по следу пройдет, не заметит, а свинья как наткнется на твой след, так сейчас отдует

и прочь; значит, ум в ней есть, что ты свою вонь не чувствуешь, а она слышит. Да и то сказать: ты ее убить хочешь, а она по лесу живая гулять хочет. У тебя такой закон, а у нее такой закон. Она свинья, а всё она не хуже тебя; такая же тварь Божия. Эх-ма! Глуп человек, глуп, глуп человек! – повторил несколько раз старик и, опустив голову, задумался.

Оленин тоже задумался и, спустившись с крыльца, заложив руки за спину, молча стал ходить по двору.

Очнувшись, Ерошка поднял голову и начал пристально всматриваться в ночных бабочек, которые вились над колыхавшимся огнем свечи и попадали в него.

– Дура, дура! – заговорил он. – Куда летишь? Дура! Дура! – Он приподнялся и своими толстыми пальцами стал отгонять бабочек.

– Сгоришь, дурочка, вот сюда лети, места много, – приговаривал он нежным голосом, стараясь своими толстыми пальцами учтиво поймать ее за крылышки и выпустить. – Сама себя губишь, а я тебя жалею.

Он долго сидел, болтая и попивая из бутылки. А Оленин ходил взад и вперед по двору. Вдруг шопот за воротами поразил его. Невольно притаив дыхание, он расслышал женский смех, мужской голос и звук поцелуя. Нарочно шурша по траве ногами, он отошел на другую сторону двора. Но через несколько времени плетень затрещал. Казак, в темной черкеске и белом *курнее* на шапке (это был Лука), прошел вдоль забора, а высокая женщина в белом платке прошла ми-

мо Оленина. «Ни мне до тебя, ни тебе до меня нет никакого дела», казалось, сказала ему решительная походка Марьянки. Он проводил ее глазами до крыльца хозяйской хаты, заметил даже через окно, как она сняла платок и села на лавку. И вдруг чувство тоски одиночества, каких-то неясных желаний и надежд и какой-то к кому-то зависти охватило душу молодого человека.

Последние огни потухли в хатах. Последние звуки затихли в станице. И плетни, и белевшая на дворах скотина, и крыши домов, и стройные раины, – всё, казалось, спало здоровым, тихим, трудовым сном. Только звенящие непрерывные звуки лягушек долетали из сырой дали до напряженного слуха. На востоке звезды становились реже и, казалось, расплывались в усиливавшемся свете. Над головой они высыпали всё глубже и чаще. Старик, облокотив голову на руку, задремал. Петух вскрикнул на противоположном дворе. А Оленин всё ходил и ходил, о чем-то думая. Звук песни в несколько голосов долетел до его слуха. Он подошел к забору и стал прислушиваться. Молодые голоса казаков заливались веселою песнею, и изо всех резкою силой выдавался один молодой голос.

– Это знаешь, кто поет? – сказал старик, очнувшись. – Это Лукашка джигит. Он чеченца убил; то-то и радуется. И чему радуется? Дурак, дурак!

– А ты убивал людей? – спросил Оленин.

Старик вдруг поднялся на оба локтя и близко придвинул

свое лицо к лицу Оленина.

– Чорт! – закричал он на него. – Чтò спрашиваешь? Говорить не надо. Душу загубить мудрено, ох, мудрено! Прощай, отец мой, и сыт и пьян, – сказал он вставая. – Завтра на охоту приходиться?

– Приходи.

– Смотри, раньше вставать, а проспишь – штраф.

– Небось, раньше тебя встану, – отвечал Оленин.

Старик пошел. Песня замолкла. Послышались шаги и веселый говор. Немного погодя раздалась опять песня, но дальше, и громкий голос Ерошки присоединился к прежним голосам. «Чтò за люди, чтò за жизнь!» подумал Оленин, вздохнул и один вернулся в свою хату.

XVI.

Дядя Ерошка был заштатный и одинокий казак; жена его лет двадцать тому назад, выкрестившись в православные, сбежала от него и вышла замуж за русского фельдфебеля; детей у него не было. Он не хвастал, рассказывая про себя, что был в старину первый молодец в станице. Его все знали по полку за его старинное молодечество. Не одно убийство и чеченцев, и русских было у него на душе. Он и в горы ходил, и у русских воровал, и в остроге два раза сидел. Большая часть его жизни проходила на охоте в лесу, где он питался по суткам одним куском хлеба и ничего не пил, кроме воды. Зато в станице он гулял с утра до вечера. Вернувшись от Оленина, он заснул часа на два и, еще до света проснувшись, лежал на своей кровати и обсуживал человека, которого он вчера узнал. *Простота* Оленина очень понравилась ему (простота в том смысле, что ему не жалели вина). И сам Оленин понравился ему. Он удивлялся, почему русские все *просты* и богаты и отчего они ничего не знают, а все ученые. Он обдумывал сам с собою и эти вопросы, и то, чего бы выпросить себе у Оленина. Хата дяди Ерошки была довольно большая и не старая, но заметно было в ней отсутствие женщины. Вопреки обычной заботливости казаков о чистоте, горница вся была загажена и в величайшем беспорядке. На столе были брошены окровавленный зипун, поло-

вина сдобной лепешки и рядом с ней ощипанная и разорванная галка для прикармливания ястреба. На лавках, разбросанные, лежали поршни, ружье, кинжал, мешочек, мокрое платье и тряпки. В углу, в кадучке с грязною вонючею водою размокали другие поршни; тут же стояла винтовка и кобылка. На полу была брошена сеть, несколько убитых фазанов, а около стола гуляла, постукивая по грязному полу, привязанная за ногу курочка. В нетопленной печке стоял черепочек, наполненный какою-то молочною жидкостью. На печке визжал копчик, старавшийся сорваться с веревки, и линялый ястреб смирно сидел на краю, искоса поглядывая на курочку и изредка справа налево перегибая голову. Сам дядя Ерощка лежал навзничь на коротенькой кровати, устроенной между стеной и печкой, в одной рубашке, и, задрав сильные ноги на печку, колупал толстым пальцем струпы на руках, исцарапанных ястребом, которого он вынашивал без перчатки. Во всей комнате и особенно около самого старика воздух был пропитан тем сильным, не неприятным, смешанным запахом, который сопутствовал старику.

– *Уйде-ма*, дядя? (то-есть дома, дядя?) – послышался ему из окна резкий голос, который он тотчас признал за голос соседа Лукашки.

– *Уйде, уйде, уйде!* Дома, заходи! – закричал старик. – Сосед Марка, Лука Марка, что к дяде пришел? Аль на кордон?

Ястреб встрепенулся от крика хозяина и захлопал крыльями, порываясь на своей привязи.

Старик любил Лукашку, и лишь одного его исключал из презрения ко всему молодому поколению казаков. Кроме того, Лукашка и его мать, как соседи, нередко давали старику вина, каймачку и т. п. из хозяйственных произведений, которых не было у Ерошки. Дядя Ерошка, всю жизнь свою увлекавшийся, всегда практически объяснял свои побуждения, «что ж? люди достаточные, – говорил он сам себе. – Я им свежинки дам, курочку, а и они дядю не забывают: пирожка и лепешки принесут другой раз».

– Здорово, Марка! Я тебе рад, – весело прокричал старик и быстрым движением скинул босые ноги с кровати, вскочил, сделал шага два по скрипучему полу, посмотрел на свои вывернутые ноги, и вдруг ему смешно стало на свои ноги: он усмехнулся, топнул раз босою пяткой, еще раз, и сделал *выходку*. – Ловко, что ль! – спросил он, блестя маленькими глазками. – Лукашка чуть усмехнулся. – Что, аль на кордон? – сказал старик.

– Тебе чихирю принес, дядя, чтò на кордоне обещал.

– Спаси тебя Христос, – проговорил старик, поднял валявшиеся на полу чамбары и бешмет, надел их, затянул ремнем, полил воды из черепка на руки, отер их о старые чамбары, кусочком гребешка расправил бороду и стал перед Лукашкой. – Готов! – сказал он.

Лукашка достал чапуру, отер, налил вина и, сев на скамейку, поднес дяде.

– Будь здоров! Отцу и Сыну! – сказал старик, с торже-

ственностию принимая вино. – Чтобы тебе получить, что желаешь, чтобы тебе молодцом быть крест выслужить!

Лукашка тоже с молитвою отпил вина и поставил его на стол. Старик встал, принес сушеную рыбу, положил на порог, разбил ее палкой, чтоб она была мягче, и, положив ее своими заскорузлыми руками на свою единственную синюю тарелку, подал на стол.

– У меня все есть, и закуска есть, благодарю Бога, – сказал он гордо. – Ну, что Мосев? – спросил старик.

Лукашка рассказал, как урядник отнял у него ружье, видимо желая знать мнение старика.

– За ружьем не стой, – сказал старик: – ружья не дашь, награды не будет.

– Да что, дядя! Какая награда, говорят, малолетку?²² А ружье важное, крымское! восемьдесят монетов стоит.

– Э, брось! Так-то я заспорил с сотником: коня у меня просил. Дай, говорит, коня, в хорунжий представлю. Я не дал, так и не вышло.

– Да что, дядя! Вот коня купить надо, а бают, за рекой меньше пятидесяти монетов не возьмешь. Матушка вина еще не продала.

– Эх! мы не тужили, – сказал старик: – когда дядя Ерошка в твои года был, он уж табуны у ногайцев воровал, да за Терек перегонял. Бывало важного коня за штоф водки али

²² Малолетками называются казаки, не начавшие еще действительной конной службы.

за бурку отдаешь.

– Что же дешево отдавали? – сказал Лукашка.

– Дурак, дурак, Марка! – презрительно сказал старик. – Нельзя, на то воруеть, чтобы не скупым быть. А вы, я чай, и не видали, как коней-то гоняют. Что молчишь?

– Да что говорить, дядя? – сказал Лукашка. – Не такие мы видно люди.

– Дурак, дурак, Марка! Не такие люди! – отвечал старик, передразнивая молодого казака. – Не тот я был казак в твои годы.

– Да что же? – спросил Лукашка.

Старик презрительно покачал головой.

– Дядя Ерошка *прост* был, ничего не жалел. Зато у меня вся Чечня кунаки были. Приедет ко мне какой кунак, водкой пьяного напою, ублажу, с собой спать положу, а к нему поеду, подарок, *пейкеш*, свезу. Так-то люди делают, а не то что как теперь: только и забавы у ребят, что семя грызут, да шелуху плюют, – презрительно заключил старик, представляя в лицах, как грызут семя и плюют шелуху нынешние казаки.

– Это я знаю, – сказал Лукашка. – Это так!

– Хочешь быть молодцом, так будь джигит, а не мужик. А то и мужик лошадь купит, денежки отвалит и лошадь возьмет.

Они помолчали.

– Да ведь и так скучно, дядя, в станице или на кордоне; а разгуляться поехать некуда. Все народ робкий. Вот хоть бы

Назар. Намедни в ауле были; так Гирей-хан в Ногаи звал за конями, никто не поехал; а одному как же?

– А дядя что? Ты думаешь, я засох! Нет, я не засох. Давай коня, сейчас в Ногаи поеду.

– Чтò пустое говорить? – сказал Лука. – Ты скажи, как с Гирей-ханом быть? Говорит, только проведи коня до Терека, а там хоть косяк целый давай, место найду. Ведь тоже гололобый, верить мудрено.

– Гирей-хану верить можно, его весь род – люди хорошие; его отец верный кунак был. Только слушай дядю, я тебя ху-ду не научу: вели ему клятву взять, тогда верно будет; а поедешь с ним, всё пистолет наготове держи. Пуще всего, как лошадей делить станешь. Раз меня так-то убил было один чеченец: я с него просил по десяти монетов за лошадь. Верить – верь, а без ружья спать не ложись.

Лукашка внимательно слушал старика.

– А что, дядя? Сказывали, у тебя разрыв-трава есть, – молвил он, помолчав.

– Разрыва нет, а тебя научу, так и быть: малый хорош, старика не забываешь. Научить, что ль?

– Научи, дядя.

– Черепаху знаешь? Ведь она чорт, черепаха-то.

– Как не знать!

– Найди ты ее гнездо и оплети плетешок кругом, чтоб ей пройти нельзя. Вот она придет, покружит и сейчас назад; найдет разрыв-траву, принесет, плетень раззорит. Вот ты и

поспевай на другое утро, и смотри: где разломано, тут и разрыв-трава лежит. Бери и неси куда хочешь. Не будет тебе ни замка, ни закладки.

– Да ты пытал, что ль, дядя?

– Пытать не пытал, а сказывали хорошие люди. У меня только и заговора было, что прочту «здравствуитя», как на коня садиться. Никто не убил.

– Какая такая «здравствуитя», дядя?

– А ты не знаешь? Эх, народ! То-то, дядю спроси. Ну слухай, говори за мной:

Здравствуитя живучи в Сиони.

Се царь твой.

Мы сядем на кони.

Софоние вопие,

Захарие глаголе.

Отче Мандрыче

Человеко-веко-любче.

– Веко-веко-любче, – повторил старик. – Знаешь? Ну, скажи!

Лукашка засмеялся.

– Да что, дядя, разве от этого тебя не убили? Может так.

– Умны стали вы. Ты все выучи да скажи. От того худа не будет. Ну, пропел «Мандрыче», да и прав, – и старик сам засмеялся. – А ты в Ногаи, Лука, не езд, вот что!

– А что?

– Не то время, не тот вы народ, дермо казаки вы стали. Да и русских вон что нагнали! Засудят. Право, брось. Куда вам! Вот мы с Гирчиком бывало...

И старик начал было рассказывать свои бесконечные истории. Но Лукашка глянул в окно.

– Вовсе светло, дядя, – перебил он его. – Пора, заходи когда.

– Спаси Христос, а я к армейскому пойду: пообещал на охоту свести; человек хорош, кажись.

XVII.

От Ерошки Лукашка зашел домой. Когда он вернулся, сырой росистый туман поднялся от земли и окутал станицу. Не видная скотина начинала шевелиться с разных концов. Чаще и напряженнее перекликались петухи. В воздухе становилось прозрачно, и народ начинал подниматься. Подойдя вплоть, Лукашка рассмотрел мокрый от тумана забор своего двора, крылечко хаты и отворенную клеть. На дворе слышался в тумане звук топора по дровам. Лукашка прошел в хату. Мать его встала и, стоя перед печью, бросала в нее дрова. На кровати еще спала сестра-девочка.

– Что, Лукашка, нагулялся? – сказала мать тихо. – Где был ночь-то?

– В станице был, – неохотно отвечал сын, доставая винтовку из чехла и осматривая ее.

Мать покачала головой.

Подсыпав пороху на полку, Лукашка достал мешочек, вынул несколько пустых хозырей и стал насыпать заряды, тщательно затыкая их пулькой, завернутою в тряпочке. Пovýдергав зубом заткнутые хозыри и осмотрев их, он положил мешок.

– А что, матушка, я тебе говорил торбы починить: починила, что ль? – сказал он.

– Как же! Немая чинила что-то вечер. Аль пора на кор-

дон-то? Не видала я тебя вовсе.

– Вот только уберусь, и итти надо, – отвечал Лукашка, увязывая порох. – А немая где? Аль вышла?

– Должно, дрова рубит. Всё о тебе сокрушалась. Уж не увижу, говорит, я его вовсе. Так-то рукой на лицо покажет, щелкнет да к сердцу и прижмет руки; жалко, мол. Пойти позвать, что ль? Об абреке-то всё поняла.

– Позови, – сказал Лукашка. – Да сало там у меня было, принеси сюда: шашку смазать надо.

Старуха вышла, и через несколько минут по скрипящим сходцам вошла в хату немая сестра Лукашки. Она была шестью годами старше брата и чрезвычайно была бы похожа на него, если бы не общее всем глухонемым тупое и грубо-переменчивое лицо. Одежду ее составляла грубая рубаха в заплатках; ноги были босы и испачканы; на голове старый синий платок. Шея, руки и лицо были жилисты, как у мужика. Видно было и по одежде и по всему, что она постоянно несла трудную мужскую работу. Она внесла вязанку дров и бросила ее у печи. Потом подошла к брату с радостною улыбкой, сморщившею всё ее лицо, тронула его за плечо и начала руками, лицом и всем телом делать ему быстрые знаки.

– Хорошо, хорошо! Молодец Степка! – отвечал брат, кивая головой. – Всё припасла, починила, молодец! Вот тебе за то! – И достав из кармана два пряника, он подал ей.

Лицо немой покраснело, и она дико загудела от радости. Схватив пряники, она еще быстрее стала делать знаки, часто

указывая в одну сторону и проводя толстым пальцем по бровям и лицу. Лукашка понимал ее и всё кивал, слегка улыбаясь. Она говорила, что брат девкам давал бы закуски, говорила, что девки его любят и что одна девка, Марьянка, лучше всех, и та любит его. Марьянку она обозначала, указывая быстро на сторону ее двора, на свои брови, лицо, чмокая и качая головой. «Любит» показывала она, прижимая руку к груди, целуя свою руку и будто обнимая что-то. Мать вернулась в хату и, узнав, о чем говорила немая, улыбнулась и покачала головой. Немая показала ей пряники и снова прогудела от радости.

– Я Улите говорила намеренно, что сватать пришлю, – сказала мать: – приняла мои слова хорошо.

Лукашка молча посмотрел на мать.

– Да что, матушка? Вино надо везть. Коня нужно.

– Повезу, когда время будет; бочки справлю, – сказала мать, видимо не желая, чтобы сын вмешивался в хозяйственные дела. – Ты как пойдешь, – сказала старуха сыну, – так возьми в сенях мешочек. У людей заняла, тебе на кордон припасла. Али в *саквы*²³ положить?

– Ладно, – отвечал Лукашка. – А коли из-за реки Гирейхан приедет, ты его на кордон пришли, а то теперь долго не отпустят. До него дело есть.

Он стал собираться.

– Пришлю, Лукаша, пришлю. Что ж, у Ямки всё и гуляли,

²³ «Саквами» называются переметные сумки, которые казаки возят за седлами.

стало? – сказала старуха. – То-то я ночью вставала к скотине, слушала, ровно твой голос песни играл.

Лукашка не отвечал, вышел в сени, перекинул через плечо сумки, подоткнул зипун, взял ружье и остановился на пороге.

– Прощай, матушка, – сказал он матери, припирая за собой ворота. – Ты боченок с Назаркой пришли: – ребятам обещался; он зайдет.

– Спаси тебя Христос, Лукаша! Бог с тобой! Пришлю, из новой бочки пришлю, – отвечала старуха, подходя к забору. – Да слушай что, – прибавила она, перегнувшись через забор.

Казак остановился.

– Ты здесь погулял, ну, слава Богу! Как молодому человеку не веселиться? Ну, и Бог счастье дал. Это хорошо. А там – то уж смотри, сынок, не того... Пуще всего начальника ублажай, нельзя! А я и вина продам, денег припасу коня купить и девку высватаю.

– Ладно, ладно! – отвечал сын, хмурясь.

Немая крикнула, чтоб обратить на себя его внимание. Показала голову и руку, что значило: бритая голова, чеченец. Потом, нахмурив брови, показала вид, что прицеливается из ружья, вскрикнула и запела скоро, качая головой. Она говорила, чтобы Лукашка еще убил чеченца.

Лукашка понял, усмехнулся и скорыми, легкими шагами, придерживая ружье за спиной под буркой, скрылся в густом

тумане.

Молча постояв у ворот, старуха вернулась в избушку и тотчас же принялась за работу.

XVIII.

Лукашка пошел на кордон, а дядя Ерошка в то же время свистнул собак и, перелезши через плетень, задами обошел до квартиры Оленина (идя на охоту, он не любил встречаться с бабами). Оленин еще спал, и даже Ванюша, проснувшись, но еще не вставая, поглядывал вокруг себя и соображал, пора или не пора, когда дядя Ерошка с ружьем за плечами и во всем охотничьем уборе отворил дверь.

– Палок! – закричал он своим густым голосом. – Тревога! Чеченцы пришли! Иван! Самовар барину ставь. А ты вставай! Живо! – кричал старик. – Так-то у нас, добрый человек! Вот уж и девки встали. В окно глянь-ка, глянь-ка, за водой идет, а ты спишь.

Оленин проснулся и вскочил. И так свежо, весело ему стало при виде старика и звуке его голоса.

– Живо! Живо, Ванюша! – закричал он.

– Так-то ты на охоту ходишь! Люди завтракать, а ты спишь. Лям! Куда? – крикнул он на собаку. – Ружье-то готово, чтоль? – кричал старик, точно целая толпа народа была в избе.

– Ну, провинился, нечего делать. Порох, Ванюша! Пыжи! – говорил Оленин.

– Штраф! – кричал старик.

– *Дю те вулеву?*²⁴ – говорил Ванюша, ухмыляясь.

– Ты не наш! не по-нашему лопочешь, чорт! – кричал на него старик, оскаливая корешки своих зубов.

– Для первого раза прощается, – шутил Оленин, натягивая большие сапоги.

– Прощается для первого раза, – отвечал Ерошка: – а другой раз проспишь, ведро чихиря штрафа. Как обогреется, не застанешь оленя-то.

– Да хоть и застанешь, так он умней нас, – сказал Оленин, повторяя слова старика, сказанные вечером: – его не обманешь.

– Да ты смейся! Вот убей, тогда и поговори. Ну, живо! Смотри, вон и хозяин к тебе идет, – сказал Ерошка, глядевший в окно. – Вишь, убрался, новый зипун надел, чтобы ты видел, что он офицер есть. Эх! народ, народ!

Действительно, Ванюша объявил, что хозяин желает видеть барина.

– *Ларжан,*²⁵ – сказал он глубокомысленно, предупреждая барина о значении визита хорунжего. Вслед затем сам хорунжий в новой черкеске, с офицерскими погонами на плечах, в чищенных сапогах, – редкость у казаков, – с улыбкой на лице, раскачиваясь, вошел в комнату и поздравил с приездом.

Хорунжий, Илья Васильевич, был казак *образованный*, побывавший в России, школьный учитель и, главное, *бла-*

²⁴ [Хотите чаю?]

²⁵ [Деньги,]

городный. Он хотел казаться *благородным*; но невольно под напущенным на себя уродливым лоском вертлявости, самоуверенности и безобразной речи чувствовался тот же дядя Ерошка. Это видно было и по его загорелому лицу, и по рукам, и по красноватому носу. Оленин попросил его садиться.

– Здравствуй, батюшка Илья Васильевич! – сказал Ерошка, вставая и, как показалось Оленину, иронически низко кланяясь.

– Здорово, дядя! Уж ты тут? – отвечал хорунжий, небрежно кивая ему головой.

Хорунжий был человек лет сорока, с седую клинообразную бородкой, сухой, тонкий и красивый и еще очень свежий для своих сорока лет. Придя к Оленину, он видимо боялся, чтобы его не приняли за обыкновенного казака, и желал дать ему сразу почувствовать свое значение.

– Это наш *Нимрод египетский*, – сказал он, с самодовольною улыбкой обращаясь к Оленину и указывая на старика. – *Ловец пред господином*. Первый у нас на всякие руки. Изволили уж узнать?

Дядя Ерошка, глядя на свои ноги, обутые в мокрые поршни, раздумчиво покачивал головой, как бы удивляясь ловкости и учености хорунжего, и повторял про себя: «*Нимрод гицкий!* Чего не выдумает?»

– Да вот на охоту хотим итти, – сказал Оленин.

– Так-с точно, – заметил хорунжий; – а у меня дельца есть к вам.

– Что прикажете?

– Как вы есть благородный человек, – начал хорунжий, – и как я себя могу понимать, что мы тоже имеем звание офицера и потому постепенно можем всегда страктоваться, как и все благородные люди. (Он приостановился и с улыбкой взглянул на старика и Оленина.) Но ежели бы вы имели желание, по согласию моему, так как моя жена есть женщина глупая в нашем сословии, не могла в настоящее время вполне вразумить ваши слова вчерашнего числа. Потому квартира моя для полкового адъютанта могла ходить без конюшни за шесть монетов, – а задаром я всегда, как благородный человек, могу удалить от себя. А так как вам желается, то я, как сам офицерского звания, могу во всем согласиться лично с вами, и как житель здешнего края, не то как бы по нашему обычаю, а во всем могу соблюсти условия...

– Чисто говорит, – пробормотал старик.

Хорунжий говорил еще долго в том же роде. Изо всего этого Оленин не без некоторого труда мог понять желание хорунжего брать по шести рублей серебром за квартиру в месяц. Он с охотою согласился и предложил своему гостю стакан чаю. Хорунжий отказался.

– По нашему глупому обряду, – сказал он, – мы считаем как бы за грех употреблять из мирского стакана. Оно хотя, по образованию моему, я бы мог понимать, но жена моя по слабости человеческия...

– Что ж, прикажете чаю?

– Ежели позволите, я свой стакан принесу, *особливый*, – отвечал хорунжий и вышел на крыльцо. – Стакан подай! – крикнул он.

Через несколько минут дверь отворилась, и загорелая молодая рука в розовом рукаве высунулась с стаканом из двери. Хорунжий подошел, взял стакан и пошептал что-то с дочерью. Оленин налил чаю хорунжему в *особливый*, Ерощке в *мирской* стакан.

– Однако не желаю вас задерживать, – сказал хорунжий, обжигаясь и допивая свой стакан. – Я как есть тоже имею сильную охоту до рыбной ловли и здесь только на побывке, как бы на рекриации от должности. Также имею желание испытать счастье, не попадутся ли и на мою долю *дары Терекка*. Надеюсь, вы и меня посетите когда-нибудь испытать *родительского*, по нашему станичному обычаю, – прибавил он.

Хорунжий откланялся, пожал руку Оленину и вышел. Покуда собирался Оленин, он слышал повелительный и толковый голос хорунжего, отдававшего приказания домашним. А через несколько минут Оленин видел, как хорунжий в засученных до колен штанах и в оборванном бешмете, с сетью на плече прошел мимо его окна.

– Плут же, – сказал дядя Ерощка, допивавший свой чай из мирского стакана. – Что же, неужели ты ему так и будешь платить шесть монетов? Слыхано ли дело! Лучшую хату в станице за два монета отдадут. Эка бестия! Да я тебе свою за три монета отдам.

– Нет, уж я здесь останусь, – сказал Оленин.

– Шесть монетов! Видно, деньги-то дурашные. Э-эх! – отвечал старик. – Чихирю дай, Иван!

Закусив и выпив водки на дорогу, Оленин с стариком вышли вместе на улицу часу в восьмом утра.

В воротах они наткнулись на запряженную арбу. Обвязанная до глаз белым платком, в бешмете сверх рубахи, в сапогах и с длинною хворостиной в руках, Марьяна тащила быков за привязанную к их рогам веревку.

– Мамушка! – проговорил старик, делая вид, что хочет схватить ее.

Марьянка замахнулась на него хворостиной и весело взглянула на обоих своими прекрасными глазами.

Оленину сделалось еще веселее.

– Ну, идем, идем! – сказал он, вскидывая ружье на плечо и чувствуя на себе взгляд девки.

– Ги! Ги! – прозвучал за ним голос Марьяны, и вслед затем заскрипела тронувшаяся арба.

Покуда дорога шла задами станицы, по выгонам, Ерошка разговаривал. Он не мог забыть хорунжего и всё бранил его.

– Да за что же ты так сердишься на него? – спросил Оленин.

– Скупой! Не люблю, – отвечал старик. – Издохнет, всё останется. Для кого копит? Два дома построил. Сад другой у брата оттягал. Ведь тоже и по бумажным делам какая собака! Из других станиц приезжают к нему бумаги писать. Как

напишет, так как раз и выйдет. В самый раз сделает. Да кому копить-то? Всего один мальчишка да девка; замуж отдаст, никого не будет.

– Так на приданое и копит, – сказал Оленин.

– Какое приданое? Девку берут, девка важная. Да ведь та-кой чорт, что и отдать-то еще за богатого хочет. Калым большой содрать хочет. Лука есть казак, сосед мне и племянник, молодец малый, что чеченца убил, давно уж сватает; так все не отдает. То, другое да третье; девка молода, говорит. А я знаю, что думает. Хочет, чтобы покланялись. Нынче что сраму было за девку за эту. А всё Лукашке высватают. Потому первый казак в станице, джигит, абрека убил, крест дадут.

– А что это? Я вчера как по двору ходил видел девка хозяйская с каким-то казаком целовалась, – сказал Оленин.

– Хвастаешь, – крикнул старик, останавливаясь.

– Ей-Богу! – сказал Оленин.

– Баба чорт, – раздумывая сказал Ерошка. – А какой казак?

– Я не видал какой.

– Ну, курпей какой на шапке? белый?

– Да.

– А зипун красный? С тебя, такой же?

– Нет, побольше.

– Он и есть. – Ерошка захохотал. – Он и есть, Марка мой. Он Лукашка. Я его Марка зову, *шутю*. Он самый. Люблю! Такой-то и я был, отец мой. Что на них смотреть-то? Бы-

вало с матерью, с невесткой спит *душенька*-то моя, а я все влезу. Бывало – жила она высоко; мать ведьма была, чорт; страсть не любила меня, – приду бывало с *няней* (друг значит), Гирчиком звали. Приду под окно, ему на плеча взлезу, окно подниму, да и ошариваю. Она тут на лавке спала. Раз так-то взбудил ее. Она как взахается! Меня не узнала. Кто это? А мне говорить нельзя. Уж было мать заворошилась. Я шапку снял, да в мурло ей и сунул: так сразу узнала по рубцу, что на шапке был. Выскочила. Бывало, ничего-то не нужно. И каймаку тебе, и винограду, всего натащит, – прибавил Ерошка, объяснявший всё практически. – Да не одна была. Житье бывало.

– А теперь что ж?

– А вот пойдём за собакой, фазана на дерево посадим, тогда стреляй.

– Ты бы за Марьянкой поволочился?

– Ты смотри на собак-то. Вечером докажу, – сказал старик, указывая на своего любимца Ляма.

Они замолкли.

Пройдя шагов сто в разговорах, старик опять остановился и указал на хворостинку, которая лежала через дорогу.

– Ты это что думаешь? – сказал он. – Ты думаешь, это так? Нет. Это палка дурно лежит.

– Чем же дурно?

Он усмехнулся.

– Ничего не знаешь. Ты слушай меня. Когда так палка ле-

жит, ты через нее не шагай, а или обойди, или скинь так-то с дороги, да молитву прочти: «Отцу и Сыну и Святому Духу», и иди с Богом. Ничего не сделает. Так-то старики еще меня учили.

– Ну, что за вздор, – сказал Оленин. – Ты расскажи лучше про Марьяну. Что ж, она гуляет с Лукашкой?

– Ши! теперь молчи, – опять шопотом перервал старик этот разговор: – только слушай. Кругом вот лесом пойдем.

И старик, неслышно ступая в своих поршнях, пошел вперед по узкой дорожке, входившей в густой, дикой, заросший лес. Он несколько раз, морщась, оглядывался на Оленина, который шуршал и стучал своими большими сапогами и, неосторожно неся ружье, несколько раз цеплял за ветки деревьев, разросшихся по дороге.

– Не шуми, тише иди, солдат! – сердито шопотом говорил он ему.

Чувствовалось в воздухе, что солнце встало. Туман расходился, но еще закрывал вершины леса. Лес казался страшно высоким. При каждом шаге вперед местность изменялась. Что казалось деревом, то оказывалось кустом; камышинка казалась деревом.

XIX.

Туман частью поднимался, открывая мокрые камышовые крыши, частью превращался в росу, увлажяя дорогу и траву около заборов. Дым везде валил из труб. Народ выходил из станиц – кто на работы, кто на реку, кто на кордоны. Охотники шли рядом по сырой, поросшей травой дороге. Собаки, махая хвостами и оглядываясь на хозяина, бежали по сторонам. Мириады комаров вились в воздухе и преследовали охотников, покрывая их спины, глаза и руки. Пахло травой и лесною сыростью. Оленин беспрестанно оглядывался на арбу, в которой сидела Марьянка и хворостиной подгоняла быков.

Было тихо. Звуки станицы, слышные прежде, теперь уже не доходили до охотников; только собаки трещали по тернам, и изредка откликались птицы. Оленин знал, что в лесу опасно, что абреки всегда скрываются в этих местах. Он знал тоже, что в лесу для пешехода ружье есть сильная защита. Не то, чтоб ему было страшно, но он чувствовал, что другому на его месте могло быть страшно, и, с особенным напряжением вглядываясь в туманный, сырой лес, вслушиваясь в редкие слабые звуки, перехватывал ружье и испытывал приятное и новое для него чувство. Дядя Ерошка, идя впереди, при каждой луже, на которой были двойчатые следы зверя, останавливался и, внимательно разглядывая, указывал их Оленину.

Он почти не говорил; только изредка и шопотом делал свои замечания. Дорога, по которой они шли, была когда-то проезжена арбой и давно заросла травой. Карагачевый и чинаровый лес с обеих сторон был так густ и заросл, что ничего нельзя было видеть через него. Почти каждое дерево было обвито сверху донизу диким виноградником; внизу густо рос темный терновник. Каждая маленькая полянка вся заросла ежевичником и камышом с серыми колеблющимися махалками. Местами большие звериные и маленькие, как туннели, фазаньи тропы сходили с дороги в чашу леса. Сила растительности этого, непробитого скотом леса на каждом шагу поражала Оленина, который не видал еще ничего подобного. Этот лес, опасность, старик с своим таинственным шопотом, Марьянка с своим мужественным стройным станом и горы, – всё это казалось сном Оленину.

– Фазана посадил, – прошептал старик, оглядываясь и надыгая себе на лицо шапку. – Мурло-то закрой: фазан. – Он сердито махнул на Оленина и полез дальше, почти на четвереньках. – Мурла человеческого не любит.

Оленин еще был сзади, когда старик остановился и стал оглядывать дерево. Петух *тордокнул* с дерева на собаку, лаявшую на него, и Оленин увидел фазана. Но в то же время раздался выстрел, как из пушки, из здорового ружья Ерошки, и петух вспорхнул, теряя перья, и упал наземь. Подходя к старику, Оленин спугнул другого. Выпростав ружье, он повел и ударил. Фазан взвился колом кверху и потом, как

камень, цепляясь за ветки, упал в чашу.

– Молодец! – смеясь прокричал старик, не умевший стрелять в лет.

Подобрав фазанов, они пошли дальше. Оленин, возбужденный движением и похвалой, всё заговаривал с стариком.

– Стой! сюда пойдём, – перебил его старик: – вчера тут оленин след видал.

Свернув в чашу и пройдя шагов триста, они выбрались на полянку, поросшую камышом и местами залитую водой. Оленин всё отставал от старого охотника, и дядя Ерошка, шагах в двадцати впереди его, нагнулся, значительно кивая и махая ему рукой. Добравшись до него, Оленин увидел след ноги человека, на который ему указывал старик.

– Видишь?

– Вижу. Что ж? – сказал Оленин, стараясь говорить как можно спокойнее: – человека след.

Невольно в голове его мелькнула мысль о Куперовом Пат-файндере и абреках, а глядя на таинственность, с которою шел старик, он не решался спросить и был в сомнении, опасность или охота причиняли эту таинственность.

– Не, это мой след, – просто ответил старик и указал траву, под которою был виден чуть заметный след зверя.

Старик пошел дальше. Оленин не отставал от него. Пройдя шагов двадцать и спускаясь книзу, они пришли в чашу к разлапистой груше, под которою земля была черна и оставался свежий звериный помет.

Обвитое виноградником место было похоже на крытую уютную беседку, темную и прохладную.

– Утром тут был, – вздохнув, сказал старик: – видать, логово отпотело, свежо.

Вдруг страшный треск послышался в лесу, шагах в десяти от них. Оба вздрогнули и схватились за ружья, но ничего не видно было; только слышно было, как ломались сучья. Равномерный, быстрый топот галопа послышался на мгновение, из треска перешел в гул, всё дальше, дальше, шире и шире разносившийся по тихому лесу. Что-то как бы оборвалось в сердце Оленина. Он тщетно всматривался в зеленую чащу и наконец оглянулся на старика. Дядя Ерощка, прижав ружье к груди, стоял неподвижно; шапка его была сбита назад, глаза горели необыкновенным блеском, и открытый рот, из которого злобно выставлялись съеденные желтые зубы, замер в своем положении.

– Рогаль, – проговорил он. И отчаянно бросив наземь ружье, стал дергать себя за седую бороду. – Тут стоял! С дорожки подойти бы! Дурак! Дурак! – И он злобно ухватил себя за бороду. – Дурак! свинья! – твердил он, больно дергая себя за бороду. Над лесом в тумане как будто пролетало что-то; всё дальше и дальше, шире и шире гудел бег поднятого оленя...

Уж сумерками Оленин вернулся с стариком, усталый, голодный и сильный. Обед был готов. Он поел, выпил с стариком, так что ему стало тепло и весело, и вышел на крылечко.

Опять перед глазами подымались горы на закате. Опять старик рассказывал свои бесконечные истории про охоту, про абреков, про душенек, про беззаботное, удалое житье. Опять Марьяна красавица входила, выходила и переходила через двор. Под рубахой обозначалось могучее девственное тело красавицы.

XX.

На другой день Оленин без старика пошел один на то место, где он с стариком спугнул оленя. Чем обходить в ворота, он перелез, как и все делали в станице, через ограду колючек. И еще не успел отодрать колючек, зацепившихся ему за черкеску, как собака его, побежавшая вперед, подняла уже двух фазанов. Только что он вошел в терны, как стали что ни шаг подниматься фазаны. (Старик не показал ему вчера этого места, чтобы приберечь его для охоты с кобылкой.) Оленин убил пять штук фазанов из двенадцати выстрелов и, лазая за ними по тернам, измучился так, что пот лил с него градом. Он отозвал собаку, спустил курки, положил пули на дробь и, отмахиваясь от комаров рукавами черкески, тихонько пошел ко вчерашнему месту. Однако нельзя было удержать собаку, на самой дороге набегавшую на следы, и он убил еще пару фазанов, так что, задержавшись за ними, он только к полдню стал узнавать вчерашнее место.

День был совершенно ясный, тихий, жаркий. Утренняя свежесть даже в лесу пересохла, и мириады комаров буквально облепляли лицо, спину и руки. Собака сделалась сивою из черной: спина ее вся была покрыта комарами. Черкеска, через которую они пропускали свои жалы, стала такою же. Оленин готов был бежать от комаров; ему уж казалось, что летом и жить нельзя в станице. Он уже шел домой; но,

вспомнив, что живут же люди, решился вытерпеть и стал отдавать себя на съедение. И – странное дело – к полдню это ощущение стало ему даже приятно. Ему показалось даже, что ежели бы не было этой окружающей его со всех сторон комариной атмосферы, этого комариного теста, которое под рукой размазывалось по потному лицу, и этого беспокойного зуда по всему телу, то здешний лес потерял бы для него свой характер и свою прелесть. Эти мириады насекомых так шли к этой дикой, до безобразия богатой растительности, к этой бездне зверей и птиц, наполняющих лес, к этой темной зелени, к этому пахучему, жаркому воздуху, к этим канавкам мутной воды, везде просачивающейся из Терека и бульбулькиющей где-нибудь под нависшими листьями, что ему стало приятно именно то, что прежде казалось ужасным и нестерпимым. Обойдя то место, где вчера он нашел зверя, и ничего не встретив, он захотел отдохнуть. Солнце стояло прямо над лесом и беспрестанно, в отвес, доставало ему спину и голову, когда он выходил в поляну или дорогу. Семь тяжелых фазанов до боли оттягивали ему поясницу. Он отыскал вчерашние следы оленя, подобрался под куст в чащу, в то самое место, где вчера лежал олень, и улегся у его логова. Он осмотрел кругом себя темную зелень, осмотрел потное место, вчерашний помет, отпечаток коленей оленя, клочок чернозема, оторванный оленем, и свои вчерашние следы. Ему было прохладно, уютно; ни о чем он не думал, ничего не желал. И вдруг на него нашло такое странное чув-

ство беспричинного счастья и любви ко всему, что он, по старой детской привычке, стал креститься и благодарить кого-то. Ему вдруг с особенною ясностью пришло в голову, что вот я, Дмитрий Оленин, такое особенное от всех существо, лежу теперь один, Бог знает где, в том месте, где жил олень, старый олень, красивый, никогда может быть не выдавший человека, и в таком месте, в котором никогда никто из людей не сидел и того не думал. «Сижу, а вокруг меня стоят молодые и старые деревья, и одно из них обвито плетями дикого винограда; около меня копошатся фазаны, выгоняя друг друга, и чувят, может быть, убитых братьев». Он пощупал своих фазанов, осмотрел их и отер тепло-окровавленную руку о черкеску. «Чувют, может быть, чакалки и с недовольными лицами пробираются в другую сторону; около меня, пролетая между листьями, которые кажутся им огромными островами, стоят в воздухе и жужжат комары: один, два, три, четыре, сто, тысяча, миллион комаров, и все они что-нибудь и зачем-нибудь жужжат около меня, и каждый из них такой же особенный от всех Дмитрий Оленин, как и я сам». Ему ясно представилось, что думают и жужжат комары. «Сюда, сюда, ребята! Вот кого можно есть», жужжат они и облепляют его. И ему ясно стало, что он несколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто такой же комар или такой же фазан или олень, как те, которые живут теперь вокруг него. «Так же, как они, как дядя Ерощка, поживу, умру. И правду он гово-

рит: только трава вырастет».

«Да что же, что трава вырастет? – думал он дальше: – всё надо жить, надо быть счастливым; потому что я только одного желаю – счастья. Все равно, что бы я ни был: такой же зверь, как и все, на котором трава вырастет, и больше ничего, или я рамка, в которой вставилась часть единого Божества, всё– таки надо жить наилучшим образом. Как же надо жить, чтобы быть счастливым, и отчего я не был счастлив прежде?» И он стал вспоминать свою прошедшую жизнь, и ему стало гадко на самого себя. Он сам представился себе таким требовательным эгоистом, тогда как в сущности ему для себя ничего не было нужно. И всё он смотрел вокруг себя на просвечивающую зелень, на спускающееся солнце и ясное небо, и чувствовал всё себя таким же счастливым, как и прежде. «Отчего я счастлив и зачем я жил прежде? – подумал он. – Как я был требователен для себя, как придумывал и ничего не сделал себе, кроме стыда и горя! А вот как мне ничего не нужно для счастья!» И вдруг ему как будто открылся новый свет. «Счастье – вот что, – сказал он сам себе: – счастье в том, чтобы жить для других. И это ясно. В человека вложена потребность счастья; стало быть она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, то– есть отыскивая для себя богатства, славы, удобств жизни, любви, может случиться, что обстоятельства так сложатся, что невозможно будет удовлетворить этим желаниям. Следовательно, эти желания незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какие же жела-

ния всегда могут быть удовлетворены, несмотря на внешние условия? Какие? Любовь, самоотвержение!» Он так обрадовался и взволновался, открыв эту, как ему показалось, новую истину, что вскочил и в нетерпении стал искать, для кого бы ему поскорее пожертвовать собой, кому бы сделать добро, кого бы любить. «Ведь ничего для себя не нужно, – всё думал он, – отчего же не жить для других?» Он взял ружье и с намерением скорее вернуться домой, чтоб обдумать всё это и найти случай сделать добро, вышел из чащи. Выбравшись на поляну, он оглянулся: солнца уже не было видно, за вершинами деревьев становилось прохладнее, и местность показалась ему совершенно незнакома и непохожа на ту, которая окружала станицу. Всё вдруг переменилось – и погода, и характер леса; небо заволакивало тучами, ветер шумел в вершинах деревьев, кругом виднелись только камыш и перестоялый поломанный лес. Он стал кликать собаку, которая отбежала от него за каким-то зверем, и голос его отозвался ему пустынно. И вдруг ему стало страшно жутко. Он стал трусить. Пришли в голову абреки, убийства, про которые ему рассказывали, и он ждал: вот-вот выскочит из каждого куста чеченец, и ему придется защищать жизнь и умирать или трусить. Он вспомнил и о Боге, и о будущей жизни так, как не вспоминал этого давно. А кругом была та же мрачная, строгая, дикая природа. «И стоит ли того, чтобы жить для себя, – думал он, – когда вот-вот умрешь, и умрешь, не сделав ничего доброго, и так, что никто не узнает». Он пошел по тому

направлению, где предполагал станицу. Об охоте он уже не думал, чувствовал убийственную усталость и особенно внимательно, почти с ужасом, оглядывал каждый куст и дерево, ожидая ежеминутно расчета с жизнью. Покружившись довольно долго, он выбрался на канаву, по которой текла песчаная, холодная вода из Терека, и, чтобы больше не плутать, решил пойти по ней. Он шел, сам не зная, куда выведет его канава. Вдруг сзади его затрещали камыши. Он вздрогнул и схватился за ружье. Ему стало стыдно себя: зарьявшая собака, тяжело дыша, бросилась в холодную воду канавы и стала лактать ее.

Он напился вместе с нею и пошел по тому направлению, куда она тянула, полагая, что она выведет его в станицу. Но, несмотря на товарищество собаки, вокруг ему всё казалось еще мрачнее. Лес темнел, ветер сильнее и сильнее разыгрывался в вершинах старых поломанных деревьев. Какие-то большие птицы с визгом вились около гнезд этих деревьев. Растительность становилась беднее, чаще попадался шушкающий камыш и голые песчаные полянки, избитые звериными следами. К гулу ветра присоединялся еще какой-то невеселый, однообразный гул. Вообще на душе становилось пасмурно. Он ощупал сзади фазанов и одного не нашел. Фазан оторвался и пропал, и только окровавленная шейка и головка торчали за поясом. Ему стало так страшно, как никогда. Он стал молиться Богу, и одного только боялся, что умрет, не сделав ничего доброго, хорошего; а ему так хоте-

лось жить, жить, чтобы совершить подвиг самоотвержения.

XXI.

Вдруг как солнце просияло в его душе. Он услышал звуки русского говора, услышал быстрое и равномерное течение Терека, и шага через два перед ним открылась коричневая продвигающаяся поверхность реки, с бурым мокрым песком на берегах и отмелях, дальняя степь, вышка кордона, отделявшаяся над водой, оседланная лошадь, в треноге ходившая по тернам, и горы. Красное солнце вышло в мгновение из-за тучи и последними лучами весело блеснуло вдоль по реке, по камышам, на вышку и на казаков, собравшихся кучкой, между которыми Лукашка невольно своею бодрою фигурой обратил внимание Оленина.

Оленин почувствовал себя опять, без всякой видимой причины, совершенно счастливым. Он зашел в Нижнепротоцкий пост, на Тереке, против мирного аула на той стороне. Он поздоровался с казаками, но, еще не найдя предлога сделать кому-либо добро, вошел в избу. И в избе не представилось случая. Казаки приняли его холодно. Он вошел в мазанку и закурил папиросу. Казаки мало обратили внимания на Оленина, во-первых, за то, что он курил папироску, во-вторых, оттого, что у них было другое развлечение в этот вечер. Из гор приехали с лазутчиком немирные чеченцы, родные убитого абрека, выкупать тело. Ждали из станции казачье начальство. Брат убитого, высокий, стройный, с

подстриженною и выкрашенною красною бородой, несмотря на то, что был в оборваннейшей черкеске и папахе, был спокоен и величав, как царь. Он был очень похож лицом на убитого абрека. Никого он не удостоивал взглядом, ни разу не взглянул на убитого и, сидя в тени на корточках, только сплевывал, куря трубочку, и изредка издавал несколько повелительных гортанных звуков, которым почтительно внимал его спутник. Видно было, что это джигит, который уже не раз видал русских совсем в других условиях, и что теперь ничто в русских не только не удивляло, но и не занимало его. Оленин подошел было к убитому и стал смотреть на него, но брат, спокойно-презрительно взглянув выше бровей на Оленина, отрывисто и сердито сказал что-то. Лазутчик поспешил закрыть черкеской лицо убитого. Оленина поразила величественность и строгость выражения на лице джигита; он заговорил было с ним, спрашивая, из какого он аула, но чеченец чуть глянул на него, презрительно сплюнул и отвернулся. Оленин так удивился тому, что горец не интересовался им, что равнодушие его объяснил себе только глупостью или непониманием языка. Он обратился к его товарищу. Товарищ, лазутчик и переводчик, был такой же оборванный, но черный, а не рыжий, вертлявый, с белейшими зубами и сверкающими черными глазами. Лазутчик охотно вступил в разговор и попросил папироску.

– Их пять братьев, – рассказывал лазутчик на своем ломаном полурусском языке: – вот уж это третьего брата рус-

ские бьют, только два остались; он джигит, очень джигит, – говорил лазутчик, указывая на чеченца. – Когда убили Ахмед-хана (так звали убитого абрека), он на той стороне в камышах сидел; он всё видел: как его в каюк клали и как на берег привезли. Он до ночи сидел; хотел старика застрелить, да другие не пустили.

Лукашка подошел к разговаривающим и подсел.

– А из какого аула? – спросил он.

– Вон, в тех горах, – отвечал лазутчик, указывая за Терек, в голубоватое туманное ущелье: – Суюк-су знаешь? Верст десять за ним будет.

– В Суюк-су Гирей-хана знаешь? – спросил Лукашка, видимо гордясь этим знакомством: – кунак мне.

– Сосед мне, – отвечал лазутчик.

– Молодец! – И Лукашка, видимо очень заинтересованный, договорил по-татарски с переводчиком.

Скоро приехали верхом сотник и станичный со свитою двух казаков. Сотник, из новых казачьих офицеров, поздоровался с казаками; но ему не крикнул никто в ответ, как армейские: «здравия желаем, ваше благородие», и только кое-кто ответил простым поклоном. Некоторые, и Лукашка в том числе, встали и вытянулись. Урядник донес, что на посту всё обстоит благополучно. Всё это смешно показалось Оленину: точно эти казаки играли в солдат. Но форменность скоро перешла в простые отношения; и сотник, который был такой же ловкий казак, как и другие, стал бойко говорить по-та-

тарски с переводчиком. Написали какую-то бумагу, отдали ее лазутчику, у него взяли деньги и приступили к телу.

– Гаврилов Лука который у вас? – проговорил сотник. Лукашка снял шапку и подошел.

– О тебе я послал рапорт полковому. Что выйдет, не знаю, я написал к кресту, – в урядники рано. Ты грамотен?

– Никак нет.

– А какой молодец из себя! – сказал сотник, продолжая играть в начальника. – Накройся. Он чьих, Гавриловых? Широкого, что ль?

– Племянник, – отвечал урядник.

– Знаю, знаю. Ну, берись, подсоби им, – обратился он к казакам.

Лукашкино лицо так и светилось радостью и казалось красивее обыкновенного. Отойдя от урядника и накрывшись, он снова подсел к Оленину.

Когда тело отнесено было в каюк, чеченец-брат подошел к берегу. Казаки невольно расступились, чтобы дать ему дорогу. Он сильною ногой оттолкнулся от берега и вскочил в лодку. Тут он в первый раз, как Оленин заметил, быстрым взглядом окинул всех казаков и опять что-то отрывисто спросил у товарища. Товарищ ответил что-то и указал на Лукашку. Чеченец взглянул на него и, медленно отвернувшись, стал смотреть на тот берег. Не ненависть, а холодное презрение выразилось в этом взгляде. Он еще сказал что-то.

– Чтò он сказал? – спросил Оленин у вертлявого перевод-

чика.

– Твоя наша бьет, наша ваша коробчит. Всё одна хурда– мурда, – сказал лазутчик, видимо обманывая, засмеялся, оскаливая свои белые зубы, и вскочил в каюк.

Брат убитого сидел, не шевелясь, и пристально глядел на тот берег. Он так ненавидел и презирал, что ему даже любопытного ничего тут не было. Лазутчик, стоя на конце каюка, переносил весло то на ту, то на другую сторону, ловко правил и говорил без умолку. Наискось перебивая течение, каюк становился меньше и меньше, голоса долетали чуть слышно, и наконец, в глазах, они пристали к тому берегу, где стояли их лошади. Там они вынесли тело; несмотря на то, что шархалась лошадь, положили его через седло, сели на коней и шагом поехали по дороге мимо аула, из которого толпа народа вышла смотреть на них. Казаки же на этой стороне были чрезвычайно довольны и веселы. Со всех сторон слышались смех и шуточки. Сотник с станичным пошли угоститься в мазанку. Лукашка с веселым лицом, которому тщетно старался он придать степенный вид, сидел подле Оленина, опершись локтями на колена и строгая палочку.

– Чтò это вы курите? – сказал он, как будто с любопытством: – разве хорошо?

Он видимо сказал это только потому, что замечал, что Оленину неловко и что он одинок среди казаков.

– Так, привык, – отвечал Оленин: – а что?

– Гм! Коли бы наш брат курить стал, беда! Вон ведь неда-

леко горы-то, – сказал Лукашка, указывая в ущелье, – а не доедешь!.. Как же вы домой одни пойдете: темно? Я вас провожу, коли хотите, – сказал Лукашка: – вы попросите у урядника.

«Какой молодец», подумал Оленин, глядя на веселое лицо казака. Он вспомнил про Марьянку и про поцелуй, который он подслушал за воротами, и ему стало жалко Лукашку, жалко его необразование. «Что за вздор и путаница? – думал он: – человек убил другого, и счастлив, доволен, как будто сделал самое прекрасное дело. Неужели ничто не говорит ему, что тут нет причины для большой радости? Что счастье не в том, чтобы убивать, а в том, чтобы жертвовать собой?»

– Ну, не попадайся ему теперь, брат, – сказал один из казаков, провожавших каюк, обращаясь к Лукашке: – слышал, как про тебя спросил?

Лукашка поднял голову.

– Крестник-то? сказал Лукашка, разумея под этим словом чеченца.

– Крестник-то не встанет, а рыжий братец-то крестовый.

– Пускай Бога молит, что сам цел ушел, – сказал Лукашка, смеясь.

– Чему ж ты радуешься? – сказал Оленин Лукашке. – Как бы твоего брата убили, разве бы ты радовался?

Глаза казака смеялись, глядя на Оленина. Он, казалось, понял всё, что тот хотел сказать ему, но стоял выше таких соображений.

– А что ж? И не без того! Разве нашего брата не бьют?

XXII.

Сотник с станичным уехали; а Оленин для того, чтобы сделать удовольствие Лукашке и чтобы не идти одному по темному лесу, попросил отпустить Лукашку, и урядник отпустил его. Оленин думал, что Лукашке хочется видеть Марьянку, и вообще был рад товариществу такого приятного на вид и разговорчивого казака. Лукашка и Марьянка невольно соединялись в его воображении, и он находил удовольствие думать о них. «Он любит Марьяну, – думал себе Оленин, – а я бы мог любить ее». И какое-то сильное и новое для него чувство умиления овладевало им, в то время как они шли домой по темному лесу. Лукашке тоже было весело на душе. Что-то похожее на любовь чувствовалось между этими двумя столь различными молодыми людьми. Всякий раз, как они взглядывали друг на друга, им хотелось смеяться.

– Тебе в какие ворота? – спросил Оленин.

– В средние. Да я вас провожу до болота. Там уж вы не бойтесь ничего.

Оленин засмеялся.

– Да разве я боюсь? Ступай назад, благодарствую. Я один дойду.

– Ничего! А мне что ж делать! Как вам не бояться? И мы боимся, – сказал Лукашка, тоже смеясь и успокоивая его самолюбие.

– Ты ко мне зайди. Поговорим, выпьем, а утром ступай.

– Разве я места не найду, где ночку ночевать, – засмеялся

Лукашка, – да урядник просил прийти.

– Я вчера слышал, ты песни пел, и еще тебя видел...

– Все люди... – И Лука покачал головой.

– Что, ты женишься, правда? – спросил Оленин.

– Матушка женить хочет. Да еще и коня нет.

– Ты не строевой?

– Где ж! Только собрался. Еще коня нет, а раздобыться негде. Оттого и не женят.

– А сколько конь стоит?

– Торговали наместни одного за рекой, так шестьдесят монетов не берут, а конь ногайский.

– Пойдешь ты ко мне в драбанты? (В походе драбант есть нечто в роде вестового, которых давали офицерам.) Я тебя выхлопочу и коня тебе подарю, – вдруг сказал Оленин. – Право, у меня два, мне не нужно.

– Как не нужно? – смеясь сказал Лукашка. – Что вам дарить? Мы разживемся, Бог даст.

– Право! Или не пойдешь в драбанты? – сказал Оленин, радуясь тому, что ему пришло в голову подарить коня Лукашке. Ему однако отчего-то неловко и совестно было. Он искал и не знал, что сказать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.